Е. АНДРЕЕВИЧЪ.

(Е. А. СОЛОВЬЕВЪ).

„Ницше."

П. Дейссенъ.

ВОСПОМИНАНІЯ О НИЦШЕ.

Изданіе Б. Н. Звонарева.

ЦѢНА 75 КОП.

1 в

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія А. Е. Колпинскаго. Конная, 3—5.
1902.

Книжный складъ Е. П. Звонаревой.

— Спб., Большая Московская, 12 —

исполняетъ заказы на всѣ имѣющіяся въ продажѣ книги; принимаетъ подписку на всѣ газеты и журналы, принимаетъ на себя составленіе библіотекъ и читаленъ и отвѣчаетъ на всѣ вопросы читателя, касающіеся книжнаго дѣла.

КНИЖНЫЯ НОВОСТИ:

Азія. Иллюстрированный географическій сборникъ, составленный преподавателями географіи А. Круберомъ, С. Григорьевымъ, А. Барковымъ и С. Чефрановымъ. Съ рисунками въ текстѣ и на отдѣльныхъ листахъ. Ц. 2 р. (Одобр. Учен. Ком. Мин. Фин. и допущенъ Учен. Ком. Мин. Нар. Пр. въ ученич. библ. средн. учеб. заведеній).

Америка. Иллюстрированный географическій сборникъ, составленный тѣми же авторами. Съ рисунками въ текстѣ и на отдѣльныхъ листахъ. М. 1901 г. Ц. 2 р. 25 к.

Бердяевъ, Н. Субъективизмъ и индивидуализмъ въ общественной философіи. Критическій этюдъ о Н. К. Михайловскомъ. Съ предисловіемъ П. Б. Струве. Спб. 1901 г. Стр. LXXXIV+IV'+267. Ц. 2 р. 25 к.

Веббъ, С. и Б. Теорія и практика англійскаго тредъ-юніонизма. Пер. съ англ. Владиміра Ильина. Томъ II. Спб. 1901 г. Стр. 401. Ц. 2 р. 50 к.

Вересаевъ, В. Записки врача. Стр. 310. Спб. 1901 г. Ц. 1 р. 25 к.

Вербицкая, А. Преступленіе Марьи Ивановны. М. 1901 г. Ц. 1 р.

Ея же. Освободилась. М. 1901 г. Ц. 1 р.

В. И. М. Чехія и чехи. Очеркъ съ картою и рисунками. Ц. 40 к.

Е. Волкова. Аравія и Магометъ Ц. 40 к.

Вѣтринскій, Ч. Среди латышей. Съ рис. Ц. 25 к.

Гаррисонъ, Ф. Оливеръ Кромвель. Перев. съ англ. подъ ред. В. А. Гольцева. М. 1901 г. Ц. 80 к.

Дарвинъ, Чарльзъ. Собраніе сочиненій. Томъ IV. Спб. 1901 г. Стр. VII+136+100+252+101. Съ 23 таб. рисунковъ 4 т.—9 р. III и IV' томы прод. отдѣльно по 4 р. 50 к.

Дрейфусъ, Альфредъ. Пять лѣтъ моей жизни (1894—1899). Перев. съ франц. съ предисловіемъ Е. Смирнова. Стр. 357. Спб. 1901 г. Ц. 1 р. 20 к.

Іерингъ, Р. Борьба за право. 1901 г. Ц. 30 к.

Кривенко, С. Н. На распутьи. Ц. 80 к.

Кругловъ, А. В. Совѣсть проснулась. Ц. 15 к.

Кюльпе, О. Введеніе въ философію. Пер. съ нѣм. подъ ред. П. Б. Струве и съ библіограф. дополненіями Я. Н. Колубовскаго. Спб. 1901 г. Стр. VII+343. Ц. 1 р. 25 к.

Лангъ, Э. Мифологія. Ц. 80 к.

Ломакинъ, Н. Робеспьеръ. Ц. 50 к.

Ле-Дантекъ. Ламаркизмъ и дарвинизмъ. Обзоръ нѣкоторыхъ

Е. Андреевичъ.

(Е. А. Соловьевъ).

„НИЦШЕ."

П. Дейссенъ.

ВОСПОМИНАНІЯ о НИЦШЕ.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе Б. Н. Звонарева.
1902.

„Пров 36"

Пров. 1959

B 3265
Nie I.

Пр.

Дозволено цензурою. Спб. 10 Сентября 1901 года.

БИБЛИОТЕКА
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
АКАДЕМИИ.
448
26

Типографія А. Е. Колпинскаго. Конная ул., № 3—5.

О Ницше*).

О Ницше многое неясно, неопредѣленно, не установлено, хотя имя его стало извѣстно въ Россіи съ 1893 года, т. е. 8 лѣтъ тому назадъ. Но и самое правописаніе этого имени неустойчиво. Кто (напр. г. Шестовъ) пишетъ — Нитше, кто (г. Ми-

*) Въ русскомъ переводѣ появилась книга А. Лихтенберже „Философія Нитцше". Изд. О. Н. Поповой. Спб. 1901. Переводъ подъ редакціей и со вступительной статьей М. Невѣдомскаго. Самъ Лихтенберже—философъ не изъ первыхъ, но къ своей задачѣ—систематизировать ученіе Ницше—онъ отнесся въ высшей степени честно и даже любовно. Отъ себя онъ почти ничего не говоритъ, и вся его роль ограничивается или изложеніемъ мыслей Ницше, или приведеніемъ цитатъ изъ многочисленныхъ книгъ послѣдняго. Думаю поэтому, что Лихтенберже можетъ служить превосходнымъ „Бедекеромъ" для всякаго приступающаго къ чтенію Ницше. Слабой оказывается только первая глава о личности Ницше, но эта глава требуетъ отъ автора и художественнаго не обязательнаго таланта и такого обилія интимныхъ данныхъ, которыя не могли быть въ рукахъ Лихтенберже въ то время, какъ онъ писалъ свою книгу. Съ

хайловскій) Ничше; кто (гг. Полиловъ и Коптяевъ) Нитче; кто (г. Невѣдомскій) растягиваетъ эту фамилію въ Нитцше, кто стискиваетъ ее въ Ниче (г. Колубовскій), и т. д. Что же касается до мнѣній насчетъ Ницше, то они еще разнообразнѣе и

той поры интересъ къ Ницше продолжаетъ расти не по днямъ, а по часамъ. Теперь въ нашемъ распоряженіи масса писемъ Ницше и много воспоминаній о немъ, не говоря уже о толкованіяхъ. Казалось бы, что чего естественнѣе для г. Невѣдомскаго, какъ взять и дополнить въ своемъ предисловіи не устарѣвшую, а отставшую книгу Лихтенберже. Но объ этомъ г. Невѣдомскій нисколько не позаботился и предпочелъ всѣ 150 страницъ наполнить своими разсужденіями. Разсужденія эти очень пространно разъясняютъ руководящую мысль Лихтенберже: „Нитцше представлялъ собою трагическаго мыслителя, живущаго среди цивилизаціи сократовскаго типа“ (стр. 61). Одинаково странно, что г. Невѣдомскій не выяснилъ значенія для „Философіи Нитцше“ хотя бы только Шопенгауэра и Вагнера, не говоря уже о греческой литературѣ. Общественная обстановка, среди которой приходилось работать и страдать Ницше, оставлена г. Невѣдомскимъ совершенно въ сторонѣ, хотя письма Ницше превосходно доказываютъ, что эта обстановка оказывала на него значительное вліяніе. Самой цѣнной въ этомъ предисловіи является мысль о томъ, что „Ницше безусловно *серьезно*, фанатически честно, какъ мало кто иной, работалъ надъ своими проблемами, и потому задуматься надъ его выводами стоитъ“. Ну да, конечно, стоитъ: и до предисловія г. Невѣдомскаго вся Европа задумалась. Къ предисловію г. Невѣдомскаго я, впрочемъ, еще вернусь. Очень интересныя соображенія о Ницше найдетъ также читатель во второмъ томѣ „Литературныхъ воспоминаній“ Н. К. Михайловскаго (Спб. 1901 г.), гдѣ Ницше посвящены три главы. Главы эти написаны 6—7 лѣтъ тому назадъ, но теперь онѣ „своевременны“.

разноцвѣтнѣе, если можно такъ сказать. Одинъ (г. Михайловскій) начнетъ за упокой и кончитъ за здравіе, другой (г. Невѣдомскій) начнетъ за здравіе и кончитъ за упокой. Разбираться во всемъ этомъ разнообразіи не стану; развѣ нѣсколько попутныхъ замѣчаній послужатъ выясненію цѣли этой статьи, сущность которой заключается въ томъ, чтобы указать на связь философіи Ницше съ очень характернымъ и почти общимъ умственнымъ теченіемъ XIX вѣка — съ героическимъ пессимизмомъ, представителями котораго были достаточно крупныя личности, вродѣ Байрона, Шелли, Карлейля, Ибсена, Толстого и пр., чтобы мы къ Ницше могли отнестись достаточно хладнокровно, безъ завываній и подпрыгиванія, потому что все это ни къ чему, потому что и то сказать, что, со стороны глядя, бѣдную русскую мысль просто жаль. Похожа она на ту старуху изъ сказки, которой старикъ ея выстроилъ избу безъ оконъ. Старухѣ не хотѣлось быть въ потемкахъ и, захвативъ большой мѣшокъ, вышла она въ полдень на солнопекъ и давай въ этотъ мѣшокъ загребать лучи. Загребала, загребала—много загребла—и мѣшокъ крѣпко завязала. Потомъ пришла въ избу, съ молитвою развязала мѣшокъ и выпустила свѣтъ на волю. Только въ избѣ все попрежнему темно осталось. А старикъ все глядѣлъ, глядѣлъ на старухины продѣлки и сказалъ: „Дура!“... потомъ взялъ и прорубилъ окна. Такъ и мы: только что черпали мѣшками у Маркса, а теперь хотимъ чер-

пать у Ницше. По крайней мѣрѣ г. Невѣдомскій говоритъ,

„...что интересъ къ Нитцше перебрался въ послѣдніе годы изъ Европы и къ намъ, что этотъ интересъ растетъ и растетъ и уже не можетъ быть объясненъ простымъ увлеченіемъ и модой, простымъ стремленіемъ à la Торцовъ—„всякую моду подражать“, а имѣетъ подъ собою какое-то болѣе глубокое жизненное основаніе,—это фактъ, никакому сомнѣнію не подлежащій.

Жаль только, что этого „жизненнаго основанія“ г. Невѣдомскій не счелъ нужнымъ разъяснить, хотя это и составляло главную задачу его вступительной статьи къ русскому переводу книги Лихтенберже о Ницше. Но сдѣлать это положительно необходимо, ибо несомнѣнно, что Ницше съ съ его странными, противорѣчивыми парадоксами, его общественнымъ пессимизмомъ, его скорбнымъ презрѣніемъ къ современному человѣчеству и стихійной, неукротимой жаждой обновленія, идетъ.

Для меня, впрочемъ,—и это я говорю заранѣе,—Ницше не рѣшеніе, а только предчувствіе, не отвѣтъ на вопросы, а лишь постановка этихъ вопросовъ, не вождь и пророкъ, а скорѣе предупрежденіе и угроза. Свести Ницше къ дюжинѣ руководящихъ моральныхъ правилъ, просѣявъ его философію сквозь рѣшето собственнаго глубокомыслія, какъ дѣлаютъ это иные глубокомысленные люди, я не желаю. Ницше больше дюжины этихъ правилъ, и въ концѣ концовъ всѣ они висятъ на воздухѣ, всѣ ищутъ своего оправданія, всѣ нуждаются въ немъ,—въ санкціи, въ освященіи, въ Богѣ, который утвердилъ бы и законопо-

ложилъ бы ихъ. Но такіе люди, какъ Ницше, страшно нужны, хотя бы они не давали ничего положительнаго, никуда не вели. Я говорю, что они—великое предчувствіе и великое предупрежденіе. Тотъ слабый и неслышный, часто заглушаемый, еще чаще осмѣиваемый и какъ бы преслѣдуемый шлепками благоразумія голосъ недовольства и страстной жажды обновленія, который заставляетъ рваться навстрѣчу новому и невѣдомому, нашелъ въ Ницше лучшаго своего пророка и вдохновеннаго поэта. Такими людьми, какъ Ницше, человѣчество мѣряетъ свой духовный ростъ, и, какъ ни низко палъ современникъ, ростъ этотъ — не малъ, не ростъ пигмея, и гордыня Фауста все же живетъ въ насъ, неукротимая, подчасъ жестокая, но съ своей цѣльной и красивой непримиренностью.

Только Ницше надо брать цѣликомъ. Не половину Ницше, не четверть его, не одну восьмушку и никакъ не дюжину правилъ „благороднаго поведенія“, а всего, какъ голосъ изъ нѣкоторой таинственной глубины европейской неудовлетворенности, какъ тѣ странные, часто уродливые, угловатые, какіе-то расплывчатые, но поражающіе своею грандіозностью образы, которые вырисовываетъ передъ вами предразсвѣтный туманъ на горахъ. Эти образы бываютъ безобразны, но въ нихъ есть что-то угрожающее, что-то такое, что вышло какъ будто изъ нѣдръ земли, какъ символъ всѣхъ тайнъ ея прошлаго, всѣхъ безчисленныхъ, многомилліонныхъ попытокъ про-

явить себя въ опредѣленныхъ формахъ органической жизни. Въ Ницше и дороже всего его близость и родство со стихійными основами жизни: не исканіе индивидуальнаго духа слышится въ его жалобахъ и насмѣшкѣ, а что-то большее. Кажется порою, что сама жизнь недовольна собой, сама она противъ себя возстала, сама казнить себя за свою скудость и половинчатость и, возстановляя собственное достоинство свое, требуетъ свѣта, простора и шири, съ презрѣніемъ отвергаетъ свою ложь и лицемѣріе. Она устами Ницше говоритъ: мнѣ тѣсно и душно, я въ цѣпяхъ и оковахъ; моему творчеству нуженъ просторъ.

Пусть Ницше не нашелъ его, но—этотъ призывъ... Развѣ вы не чувствуете его въ себѣ? Я думаю даже, что современникъ живъ прежде всего имъ, что безъ него онъ упалъ бы такъ низко, что никакія силы—ни божескія, ни человѣческія—не могли бы поднять его. Но даже Ницше, несмотря на все свое презрѣніе къ современникамъ и частое негодованіе на нихъ, не рѣшается высказать имъ окончательнаго приговора. Онъ думаетъ, что они еще способны понять слова Заратустры, откликнуться на нихъ и на его горделивое ученіе, которое, быть можетъ, лучше всего передается вотъ какими словами: „Смѣлыми, беззаботными, своевольными и насмѣшливыми—такими желаетъ насъ мудрость: она женщина и любитъ всегда только воина“ *). Иначе: въ жизни надо быть ге-

*) „Заратустра“ въ переводѣ С. П. Нани, стр. 83.

роемъ и воиномъ, и трусость человѣка—величайшій грѣхъ передъ нею. И вотъ, когда Заратустра передалъ „высшимъ людямъ“, собравшимся въ его пещерѣ, эту свою мудрость, далъ имъ свою новую скрижаль цѣнностей, избавилъ ихъ отъ бремени скорби и отвращенія къ жизни, и „сердца ихъ утѣшились, исполнились рѣшимости и они сами дивились про себя, что имъ такъ хорошо было въ этотъ часъ на землѣ, а тайна ночи все глубже проникала въ ихъ души“, тогда

„произошла наиболѣе изумительная вещь изо всего, что происходило въ этотъ долгій и изумительный день: *самый уродливый изъ людей* во второй и въ послѣдній разъ принялся пыхтѣть и клокотать, но когда онъ наконецъ добрался до словъ, то изъ устъ его вдругъ отчетливо и чисто вылетѣлъ вопросъ, — славный, глубокій, ясно поставленный вопросъ,—отъ котораго у всѣхъ, слышавшихъ его, шевельнулось въ груди сердце.

„Вы всѣ, друзья мои, что у васъ теперь на душѣ?—спросилъ самый уродливый изъ людей.—Про себя скажу, что ради этого дня я впервые за всю свою жизнь доволенъ тѣмъ, что жилъ.

„И засвидѣтельствовать это,—я нахожу,—еще мало. Жить на землѣ—стоитъ; одинъ день, одинъ праздникъ, проведенный съ Заратустрой, научилъ меня любить землю.

„Такъ *это* было жизнь“?—скажу я смерти: „Ну, что жъ,—еще разъ!“ Друзья мои, что у васъ теперь на душѣ? не скажете ли и вы къ смерти, подобно мнѣ: „Такъ *это* было—жизнь? Ну, что жъ, ради Заратустры, въ такомъ случаѣ,—еще разъ!“

Это и есть то предчувствіе возрожденія даже самаго уродливаго изъ людей, которое заставило возрадоваться самого Заратустру.

Впрочемъ, тутъ же въ самомъ началѣ я долженъ сдѣлать небольшую оговорку. Обыкновенно говорятъ, что отдѣльными афоризмами изъ Ницше можно доказать все, что угодно: и его невѣріе въ человѣка, и вѣру въ него, и его эгоизмъ, и его героическую любовь къ людямъ, и его полное отрицаніе смысла жизни, и полное утвержденіе его. Можно сказать даже больше: ровно ничего не стоитъ выбрать у Ницше книжечку афоризмовъ и изрѣченій, прямо отвратительныхъ по своей грубости и жестокости, способныхъ оттолкнуть отъ себя каждаго, наприм.: „падающаго подтолкни“; „когда идешь къ женщинѣ—не забудь захватить хлыстъ“; или, „что каждый смѣетъ учиться читать—это наконецъ портитъ не только письмо, но и мысль“ и т. д.—и другую, не меньшую, а большую книжку изрѣченій и афоризмовъ, гдѣ онъ съ такимъ восторгомъ говоритъ о святости личности, о красотѣ жизни и человѣка, что эти его слова, полныя силы и одушевленія, способны проникнуть въ самую загрубѣлую и опошлившуюся душу.

Все это справедливо: противорѣчій у Ницше не оберешься, и онъ самъ никогда не дѣлалъ ни малѣйшаго усилія, чтобы сгладить ихъ. Каждую данную минуту онъ съ полной искренностью и огромной творческой выразительностью передавалъ свое настроеніе или овладѣвшій имъ художественный образъ. Но онъ былъ какъ нельзя болѣе далекъ отъ системы и систематичности, тѣмъ болѣе отъ какого бы то ни было катехизиса. Онъ

прежде всего — поэтъ, и очень часто — поэтъ-импрессіонистъ, которому очень мало дѣла до его вчерашняго „я“, но которымъ его сегодняшнее настроеніе владѣетъ со всей силой. И если Ницше правъ, не скрывая, не уничтожая и даже не затушовывая своихъ противорѣчій, то прежде всего потому, конечно, что его „я“ находилось въ процессѣ постояннаго и бурнаго развитія. Оно не хотѣло остановиться ни на какомъ выработанномъ кодексѣ, ни на какомъ достигнутомъ идеалѣ. Онъ говоритъ объ идеалѣ вотъ что: „Разъ вы достигли идеала,—стремитесь къ другому, такъ какъ, достигнувъ идеала, вы, тѣмъ самымъ, стали выше его“. Онъ одинъ изъ странниковъ земли, одинъ изъ вѣчно ищущихъ, и никогда ничѣмъ не удовлетворенныхъ.

Полное отсутствіе какого бы то ни было догматизма мысли, тревожное стремленіе все впередъ и впередъ, ненависть и пренебреженіе ко всякаго рода начаткамъ, и особенно къ тѣмъ изъ нихъ, которые держали его въ плѣну въ дни дѣтства и юности,—вотъ его отличительная черта. Его мысль всегда являлась на сцену въ полномъ вооруженіи и полной боевой готовности, „съ молотомъ“ (его выраженіе), направо и налѣво разсыпавшимъ удары всему общепринятому, всему несомнѣнному и слишкомъ ясному для людей. По ученію Заратустры,

„человѣческая душа сначала должна уподобиться верблюду, который, покорно сгибая колѣни, принимаетъ на себя громадныя тяжести: терпѣливо вынося самыя трудныя ис-

нытанія, и съ охотой подчиняясь самымъ суровымъ правиламъ, душа выходитъ изъ такой школы съ богатымъ запасомъ опыта. Но затѣмъ она должна уподобиться льву,—говорить: „Хочу“ и ударомъ лапы уничтожать всякаго, кто дерзнетъ покуситься на ея свободу: ей надо побѣдить дракона, именуемаго „ты долженъ“, который весь искрится золотомъ, и у котораго каждая чешуйка на кожѣ отливаетъ блескомъ какой-нибудь тысячелѣтней цѣнности; иначе говоря, надо во что бы то ни стало сбросить съ себя иго идеаловъ, иго истины и добра, носить которое было прежде такъ сладко. Наконецъ, душа становится способной къ творчеству, способной уничтожать старыя цѣнности и созидать на ихъ мѣсто новыя, — когда уподобится рѣзвящемуся ребенку. „Дитя — это невинность, это забвеніе и начинаніе наново, это игра, само собою катящееся колесо, начальное движеніе, святыня произносящаго свое *да* признанія“ (Лихтенберже, 195).

До состоянія дѣтской невинности, до своего „да признанія“, Ницше, въ сущности говоря, несмотря на Заратустру и сверхчеловѣка, не дошелъ. Всѣ 12 томовъ его сочиненій написаны скорѣе въ положеніи „льва“, поднявшаго лапу въ страстномъ напряженіи борьбы. Эта борьба волновала и захватывала его до глубины, радовала вмѣстѣ съ тѣмъ, потому что только въ ней чувствовалъ онъ полноту своихъ силъ и видѣлъ, до какой мощи могутъ достигнуть онѣ. До „вершины горы“ возносило его творчество, и здѣсь онъ восклицалъ: „Горный воздухъ, рѣдкій и чистый, опасность вблизи и духъ, исполненный радостной злобы,—такъ хорошо подходитъ все это другъ къ другу“. И онъ, какъ человѣкъ, „писавшій кровью“ („Пиши,—говоритъ онъ,—своею кровью, и ты пой-

мешь, что кровь—это духъ"), въ радостномъ изступленіи призывалъ къ войнѣ:

„Врага своего ищите, войну свою ведите за свои мысли! И если даже низвергнута будетъ мысль ваша, пусть и тогда раздается побѣдная пѣсня вашей честности!

„Любите миръ, какъ средство къ новымъ войнамъ, и краткій миръ предпочитайте долгому.

„Васъ я не къ работѣ призываю, а къ борьбѣ. Васъ я не къ миру призываю, а къ побѣдамъ! Работой вашей пусть будетъ борьба, вашимъ миромъ—побѣда!..

„Вы говорите о хорошей цѣли, что она освящаетъ даже войну? А я говорю вамъ: хорошая война—вотъ что освящаетъ всякую цѣль"...

Но на войнѣ не всегда можно сохранить хладнокровіе, и не всегда можно наносить только дѣйствительно нужные удары, особенно въ положеніи Ницше, число враговъ котораго постоянно росло. И при томъ какихъ враговъ,—всему, чѣмъ живъ современный человѣкъ, что позволяетъ ему рано или поздно бросать якорь въ тихой пристани, что позволяетъ отдыхать ему по дорогѣ, давая ему „несомнѣнное", общепринятое и общепризнанное—всему этому Ницше объявилъ безпощадную войну. Его враги никогда не бывали личностями: это были идеи, общественныя теченія, устои современной жизни. Тутъ съ одинаковой страстностью нападалъ онъ на мѣщанскую мораль, ученіе соціалистовъ и анархистовъ, демократическіе идеалы, эмансипацію женщинъ, общую „грамотность", рабочее движеніе. Подъ конецъ онъ задумалъ даже дать полную переоцѣнку всѣхъ цѣнностей, т. е. всѣхъ нашихъ вѣрованій,

всѣхъ нашихъ убѣжденій, всѣхъ нашихъ идеаловъ, потому что вездѣ, куда бы онъ ни обращался, онъ видѣлъ двѣ одинаково ненавистныя ему вещи: догматизмъ и холопство мысли, стремящейся бросить якорь при первой возможности, и трусливое холопство характеровъ, которыхъ влечетъ къ себѣ тихая пристань мѣщанскаго счастья и мѣщанскаго довольства. Но переоцѣнить всѣ цѣнности, изъ которыхъ иныя имѣютъ за собой преданія, а другія—нѣчто еще болѣе могущественное,—голосъ человѣческой природы,—развѣ это не чисто-демоническая задача? Никакой жизни отдѣльнаго человѣка на это не хватитъ, тѣмъ болѣе, такой жизни, которая все же, въ концѣ концовъ, ничего положительнаго и несомнѣннаго въ себѣ не имѣла. Ницше дѣлалъ титаническія усилія. Какъ богъ Торъ, онъ смѣло и радостно брался за предложенный ему поединокъ выпить огромный рогъ, при чемъ онъ не зналъ даже, что конецъ этого рога соединенъ съ океаномъ, или побороть маленькую корявую старушку, а эта старушка была сама смерть. Онъ объявилъ себя врагомъ всего окружающаго и, конечно, далеко не всегда его удары попадали, куда слѣдуетъ. Отсюда эти странные, дикіе парадоксы, эти противорѣчія, а порою, это чисто дѣтское довѣріе къ призракамъ античной древности, къ платоновскому государству, увѣковѣчивавшему въ своемъ строѣ рабство человѣка человѣку, противъ чего и онъ, по совершенно понятнымъ, впрочемъ, какъ сейчасъ это увидимъ, причинамъ, возстать не смѣлъ.

Но эти парадоксы и эти противорѣчія не касаются многаго и для Ницше главнаго и, прежде всего, его борьбы за свободу человѣческаго творчества и вѣры въ его могущество. „Я люблю,—говоритъ онъ,—того, кто любитъ познанія, и кто стремится къ познанію для того, чтобы родился сверхчеловѣкъ“. Рожденіе сверхчеловѣка—это перерожденіе современнаго человѣка и современнаго человѣчества, это созданіе новаго, высшаго типа существъ. И въ этомъ случаѣ изреченіе, что на основаніи книгъ Ницше можно доказать все, что угодно, требуетъ и ограниченій, и переоцѣнки. *Всего* доказать нельзя.

Мнѣ кажется даже, что большинство противорѣчій Ницше совершенно призрачнаго характера. Его критическая работа продолжалась цѣлыхъ 17 лѣтъ; цѣлыхъ 17 лѣтъ онъ боролся съ обманами и утѣшеніями мѣщанскаго человѣчества. Цѣлыхъ семнадцать лѣтъ онъ видѣлъ, что число враговъ его мысли растетъ изо дня въ день, и такъ какъ при жизни (т. е. въ періодъ его здоровой жизни) никто съ нимъ не спорилъ и никто ему не возражалъ, никто почти и не читалъ его, то ему каждый шагъ въ своемъ развитіи приходилось дѣлать за свой счетъ, за свой страхъ, и исключительно личными усиліями. Его отказъ отъ общепринятаго имѣлъ свои ступени и свою логику, и нѣтъ ничего удивительнаго, что многія изъ сочиненій начала 70-хъ годовъ противорѣчатъ тому, что было имъ написано въ 80-хъ годахъ. Къ тому же—и это полезно не забывать—онъ не былъ

русскимъ прославленнымъ публицистомъ, который, затвердивши на школьной скамьѣ полдюжины азбучныхъ истинъ, проявляетъ къ нимъ въ теченіе всей своей жизни галантную преданность рыцаря своей дамѣ. Ницше же былъ, повторяю, только предчувствіемъ, и только стремленіемъ и антидогматикомъ прежде всего.

Онъ началъ съ полнаго утвержденія и на собственномъ примѣрѣ подтверждаетъ справедливость мысли Заратустры, что вначалѣ душа человѣческая уподобляется верблюду, который тащитъ все, что только на него ни положатъ. Онъ вѣрилъ въ Пруссію и Бисмарка, вѣрилъ въ спокойную жизнь и величіе профессорскихъ каѳедръ. И это блаженное состояніе продолжалось очень долго, почти до 30-лѣтняго возраста *). У него была даже готовность вѣрить и клясться словами учителей. Такими учителями были для него въ теченіе цѣлыхъ лѣтъ Вагнеръ и Шопенгауэръ, и все это, вмѣстѣ взятое, даетъ, основываясь на его юношеской перепискѣ, г-ну А. Г. („Русское Богатство“, № 3, 1901 г.) полное основаніе сказать: „...Мы встрѣчаемся съ двадцатилѣтнимъ и довольно типичнымъ нѣмецкимъ студентомъ. Затеряны среди иныхъ, пока преобладающихъ свойствъ

*) Онъ родился въ 1844 году. Первая его серьезная работа „Происхожденіе трагедіи изъ духа музыки“ относится къ 1872 году. Сознаніе измѣнило ему въ началѣ 1889 года. Умеръ въ 1900 г.

ума, тѣ черты, по которымъ проницательный наблюдатель, быть можетъ, уже тогда могъ бы понять, съ кѣмъ имѣетъ дѣло. На поверхностный взглядъ это именно обыкновенный студентъ-корпорантъ, поклонникъ Пруссіи, государственникъ и націоналистъ". Даже чрезмѣрная восторженность ничуть не нарушаетъ этой стройной картины, а какъ будто является даже ея необходимымъ фономъ. Ницше въ восторгѣ отъ всего: отъ огромной арміи, отъ національной программы правительства, отъ того, что онъ нѣмецъ, которому будетъ суждено унизить Францію, и больше всего, отъ Бисмарка. „Неизмѣримое наслажденіе,— пишетъ онъ пріятелю,—доставляетъ мнѣ Бисмаркъ. Я читаю его рѣчи, точно пью крѣпкое вино: я придерживаю языкъ, чтобы онъ не пилъ слишкомъ быстро, и я бы наслаждался подольше". Битва при Садовой вызываетъ съ его стороны дифирамбы; начало франко-прусской войны—то же самое. „Все, что разсказываешь мнѣ,—отвѣчаетъ онъ, напримѣръ, Герсдорфу на письмо послѣдняго съ поля битвы,—произвело на меня сильнѣйшее впечатлѣніе, особенно честный, возвышенный тонъ, которымъ ты говоришь объ этомъ боевомъ испытаніи нашего общаго міровоззрѣнія. Я также чувствую, что и для меня эти мѣсяцы были эпохой, когда основы принятаго нами міровоззрѣнія оказались неискоренимыми: съ ними можно умереть; это важнѣе, чѣмъ то, что съ ними, какъ сказалъ бы кто-нибудь, можно жить... Я поспѣшилъ тотчасъ же испросить у моего на-

чальства отпускъ, чтобы въ качествѣ солдата исполнить мой нѣмецкій долгъ... и немедленно выѣхалъ съ однимъ пріятелемъ, чтобы посвятить себя уходу за ранеными"...

Нѣмецкій долгъ. Какъ это мило и трогательно, особенно для будущаго автора „Заратустры", не выносившаго ни нѣмцевъ, ни Пруссіи, и Бисмарка и приходившаго въ ужасъ и негодованіе отъ одного маленькаго словечка — ты долженъ. Тутъ, въ этихъ юношескихъ письмахъ всѣ обычныя цѣнности стоятъ въ переднемъ углу, въ божницѣ, и Ницше съ почтительной молитвой переходитъ отъ одной къ другимъ — и во всякомъ случаѣ будущему біографу есть надъ чѣмъ поработать. Онъ долженъ будетъ начать именно съ этого все утверждавшаго и всему поклонявшагося Ницше, отъ этого верблюда, который покорно и радостно несъ на себѣ всю тяжесть нѣмецкаго долга, отъ этого ненавистника Франціи, наслаждавшагося нектаромъ бисмарковскихъ рѣчей. Ни на какую переоцѣнку цѣнностей нѣтъ и намека, и выяснить, что натолкнуло на нее Ницше, скатъ какихъ камней и камешковъ послужилъ толчкомъ движенія огромнаго глетчера — вотъ задача, право, достойная всякихъ усилій. Пока нѣтъ даже намека на такую работу. Быть можетъ, для нея не хватитъ даже матеріала, и оттого-то Ницше такъ въ сущности далекъ отъ насъ, и отдѣльныя его фразы колятъ насъ, какъ острые шипы. Только въ общихъ, какъ всегда грубыхъ и слишкомъ неточныхъ штрихахъ знаемъ мы драму его жизни, но

не прослѣдили пока ни ея зарожденія, ни ея развитія. Мы, разумѣется, склонны удовольствоваться самыми поверхностными разъясненіями, которыя мечутся въ глаза даже очень и очень непроницательнаго человѣка: болѣзнью Ницше,—этимъ роковымъ сумасшествіемъ, — его вынужденнымъ одиночествомъ, частыми разочарованіями въ дружбѣ, невозможностью добиться въ теченіе цѣлыхъ 15-ти лѣтъ какого бы то ни было вниманія со стороны публики, наконецъ, пристрастіемъ къ всевозможнымъ наркотикамъ, выросшимъ на почвѣ безсонницы и невыносимыхъ физическихъ страданій, и все это, разумѣется, имѣло свое значеніе. Мы теперь уже можемъ говорить съ полнымъ основаніемъ о вліяніи на него подробнаго и страстнаго изученія классической древности, философіи Шопенгауэра, пантеистической поэзіи Гете, быть можетъ, рѣзкихъ общественныхъ формулъ Макса Штирнера и Ренана, — но все это только камни, изъ которыхъ предстоитъ еще воздвигнуть зданіе. Но гдѣ же камень краеугольный? Лично я вижу его въ томъ, что Ницше былъ *отверженнымъ* въ полномъ смыслѣ этого слова, и вся его психологія отверженнаго. Сказалъ же Заратустра: „Свой міръ создаетъ отрѣшившійся отъ міра“.

Попасть въ отверженные — дѣло, вообще говоря, нетрудное. Для этого вполнѣ достаточно — ну хотя бы той репутаціи „ненормальнаго“, „умственно разстроеннаго“ и т. д. человѣка, всю прелесть которой испыталъ Ницше за послѣдніе 10 лѣтъ (самыхъ производительныхъ) его сознательной

жизни.—достаточно,—и это чаще и проще всего, — не подходить къ общему настроенію и идти своей дорогой. Вѣдь это страшная вещь затрогивать кумиры, легенды и лиры людей, которыми они дорожатъ, какъ мягкимъ ложемъ для своего невѣжества, умственной лѣни, душевнаго спокойствія. Люди даже добродѣтельны (какъ зло выразился потомъ Ницше) потому лишь, что хотятъ спокойно спать, и воръ, который тихо подбирается къ ихъ изголовью для нихъ предпочтительнѣе ночного караульщика, безстыдно колотящаго въ свою колотушку. Люди хотятъ знать, люди хотятъ слышать только пріятное для себя, — въ этомъ объясненіе той жестокости, съ какой они набрасываются на отверженныхъ, преслѣдуютъ ихъ и побиваютъ камнями.

Какъ Ницше попалъ въ отверженные, какъ его болѣзнь заставила отказаться сначала отъ каѳедры, потомъ отъ общества, какъ онъ разсорился съ лучшимъ другомъ и даже руководителемъ своей юности Вагнеромъ (эпизодъ, сыгравшій въ его жизни очень значительную роль и вызвавшій по его адресу многочисленныя злыя нападки и упреки въ неблагодарности, измѣнѣ, даже предательствѣ и т. д.) все это отчасти общеизвѣстно, отчасти хорошо разъяснено въ небольшой, но съ любовью и толково составленной книгѣ Лихтенберже, такъ что мнѣ нечего даже останавливаться на этомъ. Но мнѣ хочется прибавить нѣсколько штриховъ изъ общественной хроники германской жизни того времени, которые почему-то до

сей поры не входили ни въ одну изъ извѣстныхъ мнѣ біографій Ницше. Я говорю, конечно, о франко-германской войнѣ, о разгромѣ Франціи, побѣдахъ Мольтке и Бисмарка и восторгѣ передъ вновь созданной имперіей и волненіемъ, охватившимъ всѣхъ благомыслящихъ нѣмцевъ.

Ницше сначала самъ принадлежалъ къ рядамъ этихъ благомыслящихъ, но скоро спохватился и почувствовалъ, что вокругъ готовится что-то неладное. Въ одномъ изъ любопытнѣйшихъ писемъ, приводимыхъ г. А. Г., онъ говоритъ, между прочимъ: „Предстоящая форма культуры возбуждаетъ во мнѣ величайшую тревогу. Боюсь, какъ бы за громадные національные успѣхи мы не заплатили слишкомъ дорого въ той области, гдѣ я, по крайней мѣрѣ, не могу пойти ни на какія уступки. Между нами, я считаю нынѣшнюю Пруссію силой, въ высшей степени опасной для культуры. О вопросахъ образованія предполагаю въ будущемъ поговорить публично; религіозными происками въ пользу католической іерархіи, которые возобновлены въ Берлинѣ, тоже слѣдовало бы заняться кому-нибудь. Подчасъ бываетъ довольно тяжело, но намъ надо быть философами, чтобы сохранить здравомысліе во всеобщемъ опьяненіи,—чтобы не пришелъ воръ и не похитилъ или не окарналъ того, что для меня несравнимо съ величайшими воинскими подвигами и даже со всякими національными подъемами“.

Легко объяснить нѣсколько таинственный смыслъ послѣднихъ строкъ. Самымъ дорогимъ для Ницше

въ то время (около 72-го года) было возрожденіе духа греческой трагедіи, трагическаго героизма, который влекъ его къ себѣ изъ глубины временъ и, въ которомъ онъ видѣлъ единственно цѣнное, единственно заслуживающее вниманіе. „Пусть никто не думаетъ,—говоритъ онъ,—что германскій духъ навѣки утратилъ свою миѳическую родину, если онъ еще такъ хорошо понимаетъ птичьи голоса, разсказывающіе ему объ этой родинѣ. Настанетъ нѣкогда день, и послѣ чудовищно-долгаго сна онъ пробудится во всей утренней свѣжести. Тогда онъ поразитъ драконовъ, уничтожитъ коварныхъ пигмеевъ и разбудитъ Брунгильду“ (Происхожденіе трагедіи“, стр. 218—219, пер. Полилова).

Однако, надежды на возрожденіе оказались преждевременными. Вмѣсто трагедіи, діонисіевской музыки и героизма, ближайшая историческая минута принадлежала торговлѣ и промышленности, имперіализму, колоніальнымъ движеніямъ и духу національной гордыни, считавшему себя подъ своей прусской каской властелиномъ Европы.

Франко-германская война была побѣдой нѣмцевъ и пораженіемъ всѣхъ космополитическихъ утопій 60-хъ годовъ, ихъ раціоналистическаго движенія, гордой вѣры въ науку и разумъ и дѣйствительной эрой торжества капитализма въ Германіи. Для всѣхъ мыслителей наканунѣ она представлялась чѣмъ-то чудовищнымъ, ошеломляющимъ, настоящимъ взрывомъ подземныхъ силъ,

передъ которыми разумъ и разсудокъ оказались картонными куклами. „Война невозможна, потому что европейскія націи слишкомъ хорошо знаютъ, какъ дорого она стоитъ и какъ мало пользы приноситъ она“—вотъ вѣра, которой держались мылители-раціоналисты, тщательно подсчитывавшіе всѣ убытки завоевательной политики. Но война не только оказалась возможной,—ее кромѣ нѣкоторыхъ отверженныхъ радостно привѣтствовали милліоны людей, воспѣвали ей панегерики и славословили ее. „Пролетаріи всего міра“, которыхъ еще такъ недавно звали къ объединенію, преисправно прокалывали другъ друга штыками, и національная стихійная ненависть двухъ культурныхъ націй потребовала сотенъ тысячъ жертвъ для своего насыщенія. Куда дѣвались разумъ, разсудокъ, подсчетъ, вся статистика и вся бухгалтерія? Объ нихъ уже не думали, думали только о томъ, что надо колоть, рѣзать, жечь и завоевывать. Подъ Седаномъ бѣдный раціонализмъ долженъ былъ убѣдиться въ своемъ убожествѣ и безсиліи передъ „грозными и стихійными силами“, таящемся въ основѣ человѣческой природы, и уйти оттуда посрамленнымъ, если не навсегда, то надолго. Стало слишкомъ очевиднымъ, что всѣ успѣхи образованія, все огромное развитіе естественныхъ наукъ, всѣ завоеванія культуры значатъ еще слишкомъ мало передъ чѣмъ-то другимъ, что считали уже похороненнымъ и, что называли разно: одни — національными предразсудками, другіе—политикой всемірнаго владычества.

Но они-то волнами вызванной ими крови смыли мечты о братствѣ народовъ.

Какъ бы то ни было, Франція была побѣждена, и пять милліардовъ получены. Золотымъ потокомъ хлынули они въ нѣмецкую жизнь, все еще традиціонно-тихую и традиціонно филистерскую, и на цѣлые годы придали ей шумъ, блескъ и одушевленіе, не то героическое одушевленіе, о которомъ мечталъ Ницше, а совершенно другое: торговопромышленное, биржевое, предпринимательское просто и спекулятивно-предпринимательское— по преимуществу. Большая часть этихъ 5-ти милліардовъ расплылась довольно скоро, но во всякомъ случаѣ куда-нибудь она да ушла: на всевозможныя постройки и сооруженія, на самыя разнообразныя предпріятія. Огромный толчокъ, данный въ тѣ дни германской промышленности, чувствуется еще и по настоящее время все равно, какъ оттуда же идутъ мечты о міровой роли, а можетъ быть и о всемірномъ владычествѣ. Мѣщанство окрѣпло до такой степени, что стало на равную ногу съ нѣмецкимъ юнкерствомъ, а коммерціи совѣтнику рѣшительно нечего было стѣсняться передъ какимъ-нибудь глубоко-почитаемымъ „von“.

На духовной жизни общества эти громкія побѣды надъ старой соперницей не могли не оставить глубочайшихъ слѣдовъ. Все, что несетъ за собой побѣда, — все очарованіе военной славы, увѣренность въ своихъ силахъ и даже ихъ превосходствѣ, гордыня духа и самообольщеніе, на-

ціональное хвастовство и презрѣніе къ другимъ, шовинизмъ съ его громкими, вызывающими словами, и самодовольство, не признающее ни возраженій, ни ограниченій, ни даже тѣхъ другихъ мыслей, которыя не могутъ услаждать его слуха,— вотъ что видѣлъ передъ собой Ницше и съ каждымъ днемъ все больше. Самое отвратительное, что было въ нѣмецкомъ характерѣ, теперь надутое, напыщенное, разбухнувшее отъ самохвальства, всплыло наружу. „Нѣмцевъ,—говорилъ позже Ницше, — называли когда-то народомъ мыслителей; *мыслятъ* ли они вообще—теперь? *Духовное* наскучило нѣмцамъ, нѣмцы не довѣряютъ *духу*,— политика поглотила всякій интересъ къ истинно духовнымъ предметамъ. „Deutschland, Deutschland über Alles“ — я боюсь, что это было концомъ нѣмецкой философіи. Есть ли въ Германіи философы, есть ли въ Германіи поэты, хорошія книги?— спрашиваютъ меня за границей. Я краснѣю, но съ храбростью, не покидающею меня въ самыхъ отчаянныхъ положеніяхъ, отвѣчаю — да — Бисмаркъ!“ (переводъ г. Михайловскаго).

Надо согласиться, что трудно даже придумать болѣе неудачную обстановку и болѣе неудобное время для переоцѣнки всѣхъ цѣнностей и даже какихъ бы то ни было цѣнностей, чѣмъ то, которое выбралъ онъ. Что же удивительнаго, если его книгъ или совсѣмъ не читали, или отдѣлывались отъ нихъ презрительными замѣчаніями вродѣ: психіатрично, психопатично, эксцентрично и т. д.?

Вѣдь даже въ этихъ своихъ юношескихъ письмахъ, въ которыхъ онъ оказывается порою такимъ благомыслящимъ буршемъ, съ готовностью устремляющимся на исполненіе нѣмецкаго долга,—вы все же видите передъ собой прежде всего человѣка духа, а не тѣла, способнаго на героическое преклоненіе. Духовные, а не матеріальные интересы всегда стоятъ для него на первомъ планѣ. Онъ никогда не мечтаетъ и не позволяетъ себѣ мечтать о какой бы то ни было карьерѣ; если онъ заглядываетъ въ будущее, то оно представляется ему исключительно въ видѣ тихой „ницшеанской“ обстановки кабинета, гдѣ бы онъ могъ безъ всякой помѣхи читать свои 40 излюбленныхъ книгъ, изучать свою любимую классическую древность и мечтать о героическихъ временахъ давно минувшаго. Это все, чего онъ хочетъ, все, что ему нужно. Въ обществѣ онъ не чувствуетъ никакой особой потребности и радостно замѣняетъ его небольшимъ кружкомъ друзей, честолюбіе и слава не влекутъ его къ себѣ, — онѣ слишкомъ крикливы, въ обладаніи ими заключается слишкомъ много обязательствъ и слишкомъ много тревоги, чтобы стоило мутить ими свою жизнь. Онъ мечтаетъ жить въ „полнотѣ, цѣльности и красотѣ“, но единственная нужная ему полнота — это полнота духовныхъ наслажденій, единственная цѣльность—это цѣльность духовной жизни, не нарушаемая ни матеріальными разсчетами, ни даже любовью къ женщинѣ. Это мечты цѣломудренной романтической натуры, которая, разумѣется, долж-

на была чувствовать себя совершенно чужой въ обстановкѣ разгулявшихся и при томъ совсѣмъ не духовныхъ и совсѣмъ не цѣломудренныхъ аппетитовъ, мечты ученаго и поэта, очень далекаго отъ шума и грохота общественной жизни, отъ рѣзкихъ и грубыхъ толчковъ соперничества и конкурренціи, отъ всѣхъ рыночныхъ и оффиціальныхъ интересовъ окружающей обстановки. „...Тогда, — пишетъ онъ въ началѣ 70-хъ годовъ одному своему пріятелю,—установится и мое здоровье, котораго я и не требую, пока я его не заслужилъ, пока я не обрѣлъ того состоянія души, которое есть для меня обѣтованное состояніе, — ея здоровья, когда она сохранитъ одно стремленіе, — жажду познанія, и освободится отъ всѣхъ прочихъ стремленій и побужденій. Простой обиходъ, вполнѣ правильный образъ жизни, никакихъ возбужденій честолюбія, жизнь вмѣстѣ съ моей сестрой, сознаніе, что имѣешь любящихъ друзей, обладаніе сорока лучшими книжками всѣхъ временъ и народовъ, неизмѣнное счастье видѣть въ Шопенгауэрѣ и Вагнерѣ своихъ воспитателей, въ грекахъ — предметъ своей ежедневной работы, вѣра въ то, что я буду имѣть хорошихъ учениковъ, — вотъ изъ чего состоитъ моя теперешняя жизнь“.

Ницше обыкновенно называютъ (между прочимъ и Лихтенберже) поэтомъ-художниковъ или художникомъ-философомъ. Мнѣ кажется, что это справедливо только отчасти. Конечно, стоитъ только прочесть маленькій отрывокъ изъ „Заратустры“,

чтобы убѣдиться, что передъ вами настоящій поэтъ съ богатымъ и яркимъ воображеніемъ, обремененный образами и картинами, весь отдавшійся порыву своего творческаго вдохновенія. Но это только часть Ницше. Самъ онъ больше и шире. Это вообще замѣчательно выдержанная и цѣлостная эстетическая натура, такъ что сводить его къ поэту и художнику—значитъ недостаточно понимать его. Что проще? Возьмите, напр., нашего Фета. Что онъ былъ поэтомъ и художникомъ, въ этомъ я думаю, ровно никто теперь не сомнѣвается. Но одинаково несомнѣнно, что ничего эстетическаго въ его натурѣ не было. Передъ нами большой руки чувственникъ, помѣщикъ съ очень ясными крѣпостническими симпатіями, который нисколько не боялся и не чуждался жизненной грязи, а порою, какъ это видно изъ его воспоминаній, превосходно и привольно чувствовалъ себя въ ея тепленькой жижицѣ. Поэтому-то Фетъ и говорилъ, что „поэзія и дѣйствительность не имѣютъ между собой ничего общаго, что какъ человѣкъ онъ — одно, какъ поэтъ—другое“. Поэтому-то онъ доводилъ эту мысль даже до всей ея крайности: онъ говорилъ, что „поэзія есть ложь, и, что поэтъ, который съ перваго же слова не начинаетъ лгать безъ оглядки, никуда не годится“. Конечно, все это довольно-таки наивная, низменная перефразировка знаменитаго

„Пока не требуетъ поэта
Къ священной жертвѣ Аполлонъ...“

но тутъ есть и нѣчто глубоко искреннее, изъ существа натуры взятое...

Но Ницше былъ эстетикомъ и эстетической натурой отъ головы до пятокъ все равно, какъ Кентъ говоритъ про Лира: „every inch a King“,— такъ и про Ницше можно сказать: „Въ каждомъ своемъ шагѣ и поступкѣ, въ каждомъ „дюймѣ своего существа“ онъ былъ эстетикомъ. Лгать и лицемѣрить—значило для него нарушать красоту своего духовнаго міра; преслѣдовать какіе бы то ни было матеріальные интересы, тѣмъ болѣе унижаться изъ-за нихъ передъ кѣмъ бы то ни было, хотя бы даже передъ только что разгромившимъ Францію нѣмецкимъ народомъ, поступиться ради успѣха даже однимъ рѣзкимъ словомъ — значило то же самое. Чувство красоты и его греческое моральное выраженіе — чувство собственнаго достоинства—какъ бы разлитыя по всему его организму, заключали въ себѣ для него несомнѣнный нравственный элементъ обязательствъ, которому онъ ригористически подчинился. Отсюда, между прочимъ, эти его частыя „дружбы“ и частые разрывы съ друзьями, которые, какъ люди, оказывались обыкновенно далеко не на высотѣ первоначальнаго представленія Ницше о нихъ. Свою спеціальность- классическую филологію — онъ выбираетъ, между прочимъ, потому что она наименѣе связана съ практическими интересами жизни. Отсюда этотъ его такъ называемый аристократизмъ, презрѣніе къ „черни“, къ тѣлеснымъ аппетитамъ, его полное отвращеніе къ демократическимъ вѣя-

ніямъ эпохи. Эстетизмъ вообще сыгралъ большую роль въ его жизни. Опредѣливъ и обострив ея презрѣніе къ мѣщанству, онъ въ то же время заставилъ его принять платоновскую схему общественной организаціи.

Красота формы,—говоритъ Лихтенберже, — вотъ чѣмъ опредѣляется пристрастіе Ницше къ античной цивилизаціи, къ эпохѣ Возрожденія, къ французской культурѣ XVII и XVIII вв., къ современной Франціи; и, наоборотъ, ненависть къ вульгарности всего плебейскаго сказывается въ его несправедливо-строгомъ приговорѣ надъ большинствомъ проповѣдниковъ христіанства (онъ подозрѣваетъ въ нихъ рабскія души), въ его сужденіяхъ о Лютерѣ, котораго онъ не выноситъ за его крестьянскую грубость. Та же ненависть сказывается въ его взглядахъ на французскую революцію, на все современное движеніе, — и демократическое, и женское, и соціалистическое, и анархическое, — наконецъ, во взглядахъ на Германскую имперію и современную нѣмецкую культуру. Онъ не мирится съ недостаткомъ того, что французы называютъ „distinction“ — изящества и силы — въ физическомъ, умственномъ или нравственномъ отношеніи, съ отсутствіемъ такта, съ дурнымъ тономъ. На этотъ счетъ вкусъ его до странности требователенъ и тонокъ. Его нравственная оцѣнка почти въ окончательномъ выводѣ приходитъ къ констатированію, что такое-то чувство „благородно“ (vornehm), а такое-то нѣтъ. Тщеславіе онъ презираетъ на томъ основаніи, что *человѣкъ нуждающійся въ чужомъ одобреніи, чтобы уважать себя, — по мнѣнію Ницше,—обладаетъ лакейской душой.*

И т. д. Красота, правильность и гармоническое соотвѣтствіе частей общему цѣлому подкупили его въ проектѣ общественнаго устройства, предложеннаго Платономъ въ его „Республикѣ“. Совершенно забывъ умную оговорку, сдѣланную великимъ грекомъ къ своему труду,—ту, что такое

устройство годится для боговъ и не годится для людей, Ницше, вслѣдъ за нимъ и Аристотелемъ, говоритъ: „Рабство составляетъ одно изъ существенно необходимыхъ условій культуры; и эта истина, конечно, не оставляетъ мѣста для какихъ-нибудь сомнѣній по вопросу объ абсолютной цѣнности нашего существованія. Это тотъ коршунъ, который терзаетъ печень современнаго Прометея—піонера цивилизаціи. Горести влачащихъ тяжелое существованіе тружениковъ должны еще возрасти, чтобы дать возможность небольшому числу людей-олимпійцевъ создать прекрасный міръ искусства“... Пусть читатель удержитъ благородное негодованіе при себѣ и замѣтитъ, какъ эстетика бьетъ тутъ черезъ край. Та же эстетика заставила совсѣмъ уже по-рабски, по-верблюжьи подчиниться платоновскому идеалу общественнаго устройства.

Въ своей переоцѣнкѣ всѣхъ цѣнностей онъ забылъ переоцѣнить и эту цѣнность,—быть можетъ, просто не успѣлъ. Во всякомъ случаѣ его эстетико-философскій аристократизмъ ставилъ въ этомъ случаѣ передъ нимъ неодолимыя преграды, и Ницше, смѣлый до дерзости, каждымъ словомъ своимъ бросавшій гордый вызовъ обществу, возставшій противъ всего буржуазно-матеріальнаго строя своего времени, дѣйствительно не только унижающаго, но прямо-таки уничтожающаго его своимъ господствующимъ принципомъ,—человѣкъ есть не цѣль, а средство хотя бы для торгово-промышленнаго процвѣтанія отечества или для

увеличенія средне-африканскихъ колоніальныхъ владѣній Германіи,—не замѣтилъ того элемента, который чувствуется въ соціальныхъ теченіяхъ нашего времени. Слишкомъ занятый собой и своимъ духомъ, онъ просто повторилъ общественный идеалъ Платона,—повторилъ,—говорю я,—рабски, до послѣдней точки на і.

Мнѣ кажется, что это значитъ слишкомъ мало цѣнить Ницше, если обращать мало вниманія на эту вотъ сторону его проповѣди, хотя бы и въ достаточной степени отвратительную, или пытаться затушевать ее, или даже „извинить“ разными обстоятельствами вродѣ болѣзни и т. д. Ницше ни въ затушовкѣ, ни въ извиненіи не нуждается, и кто знаетъ его гордую, самолюбивую натуру, тотъ пойметъ, какой пощечиной показался бы ему успакаивающій приговоръ нашихъ критиковъ: „Виновенъ, но заслуживаетъ снисхожденія“. Какъ будто снисхожденія ищетъ онъ отъ васъ, какъ будто онъ боялся когда-нибудь хоть какой-нибудь мысли, какъ будто онъ не предпочелъ десять, пятнадцать лѣтъ полнаго духовнаго одиночества, полнаго непризнанія, полной даже отверженности, чѣмъ въ чемъ-нибудь поступиться передъ рабами минутнаго и поклонниками успѣха. Для того, чтобы сдѣлаться самымъ моднымъ фельетонистомъ или даже ораторомъ соціалъ-демократіи, ему не надо было говорить другого; а просто кой-чего не договаривать. Но вотъ это-то и возбуждало наибольшее его отвращеніе, какъ и всякая половинчатость вообще. Поэтому-то прямо считаю нуж-

нымъ привести слѣдующую страничку изъ Лихтенберже:

„Ницше вѣритъ въ необходимость и неизбѣжность человѣческаго неравенства, мечтаетъ объ аристократическомъ общественномъ строѣ, съ рѣзкимъ разграниченіемъ на касты, изъ которыхъ каждая имѣетъ свои строго опредѣленныя привиллегіи, права и обязанности. Низшую касту должны составить мелкіе, незначительные люди, посредственности, естественное призваніе которыхъ служить колесиками великаго соціальнаго механизма; такіе люди, такіе работники, находящіе удовлетвореніе въ добросовѣстномъ исполненіи того дѣла, къ которому они подготовлены спеціальной дрессировкой, скромно довольствующіеся подчиненіемъ чужой волѣ и дисциплинѣ въ работѣ на общую пользу,—такіе люди нужны не только въ земледѣліи, торговлѣ и т. д., но и въ другихъ областяхъ: въ наукѣ и искусствѣ. Если хотите, они—рабы, жертвы „эксплуатаціи“, ибо на ихъ счетъ существуютъ всѣ высшія касты, которымъ они къ тому же обязаны подчиниться; нечего и думать о томъ, чтобы избавить ихъ отъ лишеній и страданій: для нихъ дѣйствительность всегда была и будетъ горькой и суровой. Но въ хорошо устроенномъ государствѣ будущаго существованіе этихъ низшихъ людей окажется болѣе обезпеченнымъ, болѣе спокойнымъ и, особенно, болѣе *счастливымъ*, чѣмъ у тѣхъ, кто будетъ стоять выше ихъ: на нихъ не будетъ лежать никакой отвѣтственности, имъ только и заботы будетъ, что существовать. Непосредственно надъ ними стоящую касту образуютъ правители, блюстители закона, защитники порядка, воины; во главѣ ихъ стоитъ верховный ихъ начальникъ—король, „высшее выраженіе воина, судьи и защитника законности“. Всѣ они осуществляютъ, такъ сказать, лишь матеріальную сторону власти, какъ бы служатъ передаточнымъ механизмомъ, передающимъ толпѣ рабовъ велѣнія настоящихъ господъ. Первой же, высшей кастой является именно каста этихъ *господъ*, мудрыхъ,—каста „созидателей цѣнностей“: отъ нея исходятъ жизненные импульсы для

всего общественнаго организма, и здѣсь на землѣ, среди человѣчества, ей принадлежитъ то самое мѣсто и то назначеніе, какое принадлежитъ во вселенной Богу". (Лихтенберже, 185—186).

Тутъ у Ницше идеалъ Платона возрождается во всей его полнотѣ. Платонъ одинаково дѣлилъ людей на три касты, смотря по тому, у кого какая душа: тѣлесная ли, т. е. стремящаяся лишь къ матеріальнымъ благамъ и радующаяся накопленію, или страстная, ищущая подвиговъ храбрости и мужества, или же душа философа, истинное воплощеніе мудрости, которая водворяетъ въ государствѣ порядокъ, гармонію, справедливость.

Легко видѣть, что влекло къ себѣ Ницше въ такомъ идеалѣ. Прежде всего онъ видѣлъ въ немъ красоту и красоту чисто-греческую, „аполлоновскую", сущность которой въ строгой соразмѣрности и гармоніи всѣхъ частей такого-то цѣлаго. Затѣмъ слишкомъ даже очевидно, что при такомъ общественномъ устройствѣ никакъ не можетъ случиться того, чтобы „маленькій человѣкъ оказался на высотѣ". Напротивъ того, маленькому человѣку указано его маленькое мѣсто: всѣ матеріальные интересы внизу, всѣ духовные наверху, и тамъ имъ предоставленъ только просторъ, полная свобода. Философъ Платона—организаторъ и творецъ, также и сверхчеловѣкъ Ницше: „онъ создаетъ *свою* истину и *свое* добро".

Если теперь припомнить, съ какой настойчивостью Ницше повторяетъ свои мысли о полной невозможности сложить съ большинства людей

бремя ихъ рабства, какъ презрительно третируетъ онъ соціалъ-демократовъ за ихъ „свободу, равенство и братство“, то будетъ странно видѣть въ этой сторонѣ ученія Ницше какую бы то ни было случайность или „прискорбное недоразумѣніе“. Тутъ передъ нами эстетикъ, мечтающій о созданіи все высшихъ и высшихъ формъ красоты, какихъ бы жертвъ это ни стоило человѣчеству. Для него, разумѣется, нисколько не важно, чтобы *всѣ* читали „Георга, принца англійскаго“, но очень важно, чтобы могъ родиться и думать *одинъ* Гете или *одинъ* Шопенгауэръ; не важно, чтобы всѣ лѣпили хорошенькія статуэтки, но очень важно, чтобы была создана Венера Милосская и т. д.

Но представьте себѣ такую натуру, какъ натура Ницше съ его древнегреческимъ идеаломъ, его чисто физической брезгливостью къ мѣщанскому довольству и счастью, ко всякой пошлости, лжи, лицемѣрію, жаждѣ наживы, соперничеству, его героическими порывами къ созданію новыхъ формъ жизни, которыя съ каждымъ днемъ все сильнѣе заявляютъ о себѣ въ душѣ, не даютъ покоя и рвутся наружу,—и вы увидите, что иначе, какъ въ жестокое противорѣчіе со всѣми догматами и истинами своего времени, Ницше не могъ не встать. Ибо на его глазахъ ежедневно попиралось самое для него святое,—красота жизни, какъ полное проявленіе творческихъ силъ человѣка. Ему были противны эти заботы о желудкѣ и всѣ желудочные вопросы, эта жажда наживы, эта борьба за существованіе. Ему противна была эта

трусость мысли, цѣпко хватавшаяся за все общепринятое и установленное, этотъ догматизмъ и начатки, которые для большинства все еще являются верхомъ человѣческой премудрости.

Конечно, не болѣзнь вызвала его критику. Эта критика была неизбѣжна, но болѣзнь, постоянное одиночество, отверженность, обидное пренебреженіе къ его мыслямъ — обострили ее и сдѣлали ее непримиримой. Съ полной очевидностью увидѣлъ онъ, что ни одна изъ общепринятыхъ основъ жизни для него не годится, и онъ создалъ свои основы *во имя перваго эстетическаго требованія— полной свободы человѣческаго творчества.*

Но та же болѣзнь поставила передъ нимъ и другую задачу, которую можно охарактеризовать словами *„оправданіе зла“*. Явилась эта болѣзнь нежданная, негаданная, выйдя изъ таинственной подпочвы наслѣдственности, и сразу же приняла мучительный и грозный характеръ. Дѣлать съ ней было нечего, — надо было только терпѣливо переносить ее, — но какъ отнестись къ ней? Признать ли себя побѣжденнымъ сразу? Сказать ли себѣ прямо, что жизнь—это жестокая и страшная вещь, безсмысленно разсыпающая горе и радости, и проклясть ее? Но Ницше не хотѣлъ никого винить, никого проклинать, никого просить о состраданіи и участіи. Въ себѣ самомъ задумалъ онъ найти ту силу, которая, несмотря на эту безсмыслицу, сокрушившую его жизнь, могла бы явиться ему опорой въ долгіе годы страданій и даже помочь ему *радостно* воспринимать ихъ. Вся

огромность его самолюбія, вся юношески-прекрасная гордость, не покинувшая его вплоть до того момента, какъ весь окружающій его міръ погрузился въ мракъ, вся боязнь быть слабымъ, словомъ, вся *совѣстливость* его натуры, не позволявшая ему обременять другихъ, выразились въ этой поставленной имъ себѣ задачѣ. Только въ лучезарномъ сіяніи своего генія и своей творческой мощи хотѣлъ онъ являться передъ людьми и не увеличивать своими муками и такъ уже густой мракъ жизненнаго унынія и тоски. Съ грустью сказалъ онъ какъ-то про генія: „Люди думаютъ—онъ Богъ, а онъ только бѣдное жертвенное животное“... И онъ, конечно, былъ этимъ бѣднымъ жертвеннымъ животнымъ на алтарѣ „безсмысленной“ природы и „жестокой“ исторіи.

Какъ рѣшилъ онъ эту задачу—обратить страданіе въ радость, какими призраками наполнилъ онъ міръ, въ которомъ *для него* не было ни Бога, ни людей,—увидимъ ниже.

Въ свою критику окружающаго Ницше вложилъ всю душу. О себѣ говорилъ онъ, когда говорилъ, что надо писать кровью. „Безличность, — по его словамъ,—не имѣетъ цѣны ни на небѣ, ни на землѣ; для великихъ проблемъ нужна и *великая любовь*, а на такую любовь способны только умы могучіе, крѣпкіе, надежные, съ прочной основой“... „Есть два кореннымъ образомъ различающихся типа мыслителей: одни вкладываютъ личный ин-

тересъ въ стоящія передъ ними проблемы; въ этихъ проблемахъ вся ихъ судьба,—ихъ отчаяніе, какъ и высшее, впрочемъ, счастье; другіе относятся къ нимъ безлично и какъ бы прикасаются къ нимъ и захватываютъ ихъ только щупальцами своихъ холодно-любопытствующихъ умовъ. Мыслитель послѣдняго типа ничего не найдетъ,—въ этомъ можно быть увѣреннымъ заранѣе, потому что великіе вопросы, если даже и дадутся въ лапы лягушкамъ и слабосильнымъ субъектамъ, то лишь временно, а удержаться въ этихъ лапахъ не могутъ"...

Къ какому типу мыслителей принадлежалъ Ницше,- -говорить нечего.

Оставляя подъ вопросительнымъ знакомъ вопросъ объ исходномъ пунктѣ его критики, посмотримъ прежде всего, на что она направлялась. Съ самаго же начала своего она зашумѣла бурнымъ потокомъ, горнымъ ручьемъ, какъ говоритъ Заратустра *), направляясь противъ сорока истинъ и десяти добродѣтелей высоко-культурнаго мѣщанскаго времени. Все, что составляетъ гордость этого послѣдняго, подверглось во имя великой любви къ творческой свободѣ человѣческаго духа рѣзкому осужденію. Духъ замеръ. Торжествовалъ

*) Любопытна маленькая подробность: Заратустра говоритъ о горныхъ ручьяхъ, горномъ холодномъ воздухѣ, горныхъ вершинахъ, о спокойномъ одиночествѣ на горахъ. Съ горными одинокими вершинами сравниваетъ онъ себя. Быть можетъ, это символъ одинокой тоски, презирающей „ползающую" жизнь...

наглый мотивъ „Deutschland, Deutschland über Alles“ — по вышеприведеннымъ словамъ самого Ницше. Къ этому же вела мощно развернувшаяся промышленность и духъ спекуляціи, ибо „люди, искусные въ спекуляціяхъ, мало искусны въ спекулятивномъ мышленіи“. Процвѣтала мѣщанская мораль съ идеаломъ накопленія, достатка, благополучія вообще; пѣлись гимны въ честь личной иниціативы и предпріимчивости, доказывалось на разные лады, что счастье—это цѣль, а человѣкъ—кузнецъ своего счастья; что благоразуміе, бережливость, осторожность—лучшія изъ украшающихъ душу добродѣтелей. На разные лады, словомъ, повторялись знаменитые совѣты Полонія:

„Будь остороженъ на словахъ,
На дѣлѣ же, мой другъ, подавно;
Будь обходителенъ, не дерзокъ,
Съ разборомъ выбирай друзей,
Ссоръ не ищи...
Не занимай и не давай взаймы...“
и т. д.

Всюду были „кругленькіе, аккуратненькіе и добренькіе люди“, какъ называлъ ихъ Ницше, въ тѣхъ же костюмахъ, съ тѣми же мыслями, тѣми же правилами поведенія. И, благодаря этому полному однообразію, было скучно и душно кругомъ.

Жизнь бѣдна и скупа—это первое, что могъ сказать Ницше современникамъ, потому что изсякла ея энергія, ея героическій духъ, жажда созданія, творчества и подвиговъ. Онъ говорилъ:

„разъ ужъ я живу, *я хочу*, чтобы жизнь и во мнѣ, и всюду кругомъ шла съ той роскошью, съ тѣмъ изобиліемъ, съ той тропической силой, какія только мыслимы. И все, что краситъ жизнь, дѣлаетъ ее интенсивнѣе, увеличиваетъ ея цѣнность,—все это я признаю, всему этому я скажу свое *да!* Если мнѣ докажутъ, что заблужденія и иллюзіи могутъ содѣйствовать росту жизни, я признаю и заблужденія и иллюзіи. Если мнѣ докажутъ, что свойства, которыя современная мораль, называетъ „дурными“, какъ суровость, жестокость, хитрость, безразсудная отвага, задоръ и пр.,—могутъ повысить жизненную энергію человѣка, я имъ скажу *да!* признаю и „зло“, и „грѣхъ“. Если мнѣ докажутъ, что страданіе въ дѣлѣ воспитанія человѣчества играетъ не менѣе важную роль, чѣмъ наслажденіе, я признаю страданіе. И наоборотъ, по адресу всего, что понижаетъ жизнедѣятельность человѣка-растенія, я скажу *нѣтъ*,—все подобное я стану отрицать. Если я увижу, что истина, нравственность, „добро“,—словомъ, любая изъ цѣнностей, которыя подъ этими и имъ подобными наименованіями почитаются людьми и являются понынѣ общепризнанными,—если я увижу, что онѣ вредны для жизни, я буду ихъ отрицать, буду отрицать и науку, и мораль“.

Но что же дѣлаетъ жизнь такой скупой и скудной? Прежде всего, конечно, ненавистныя для Ницше заботы о довольствѣ и трусость мысли. Съ неподражаемой ироніей говоритъ онъ въ своемъ „Заратустрѣ“ о модномъ проповѣдникѣ, учащемъ людей хорошо кушать, спокойно спать и быть добродѣтельными. Я приведу эту страничку:

„Заратустра слышалъ, какъ хвалили и славили одного мудреца за умѣнье хорошо говорить о снѣ и добродѣтели. Всѣ юноши желали слушать его поученія. И вотъ къ этому мудрецу пошелъ Заратустра и сѣлъ на-ряду съ юношами передъ его каѳедрой. Мудрецъ началъ такъ: „Почитайте

сонъ и стыдитесь его нарушить! Это самое главное. И еще: избѣгайте всѣхъ, кто плохо спитъ, всѣхъ, кто бодрствуетъ ночью! Даже воръ стыдится нарушить сонъ: всегда тихонько крадется онъ ночью: но безстыденъ ночной караульщикъ: безстыдно стучитъ онъ въ свою колотушку. Не легкое дѣло умѣть хорошо спать: ужъ одно то, что передъ тѣмъ надо бодрствовать цѣлый день. Десять разъ въ теченіе дня ты долженъ самъ съ собой примириться, потому что самообузданіе есть огорченіе, и плохо спитъ непримирившійся.

„...Но чтобы хорошо спать, нужно быть вполнѣ добротельнымъ.

„И даже, если ты вполнѣ добродѣтеленъ, вотъ еще, что ты долженъ понять: умѣй посылать свои добродѣтели во время спать. Чтобы они не вздумали, эти милыя женки, одна съ другою ссориться! Изъ-за тебя, несчастный, чтобы онѣ не поссорились.

„Миръ съ сосѣдомъ своимъ заключи—этого требуетъ добрый сонъ. Не позабудь о домовомъ сосѣда, а то будетъ онъ шалить у тебя ночью... Почетъ и покорность всѣмъ, кто повыше стоитъ! честь даже и кривой высотѣ! Вѣдь не наша вина, что власть любитъ не прямо, а криво ходить“...

Дальше идетъ такое же рѣзко ироническое изложеніе мѣщанскаго счастья, какъ награда за добродѣтель.

„Для меня,—продолжаетъ свои поученія мудрецъ,—лучшій пастырь тотъ, кто своей овцѣ лучшее пастбище даетъ; мой добрый сонъ съ этимъ согласенъ.

„Великихъ почестей я не хочу и сокровищъ большихъ мнѣ не надо: это вредно для селезенки. Но для хорошаго сна нужно доброе имѣть имя, и обезпеченнымъ слѣдуетъ быть.

„Малое общество предпочту я лихому: но уйти и придти должно оно въ пору. Это необходимо для хорошаго сна.

„Вотъ такъ протекаетъ день добродѣтельнаго. Подходитъ ночь... но я никогда не рѣшусь къ себѣ сонъ позвать!

Не хочетъ онъ, чтобъ его звали, его—властелина добродѣтелей.

„Нѣтъ я передумываю, что я сдѣлалъ и думалъ въ теченіе дня. И, пережевывая эту жвачку, терпѣливо, какъ корова, я себя вопрошаю: какія были твои десять дней самообузданій? И что за десять примиреній, десять истинъ и десять веселій усладили мое сердце?

„Охваченнаго раздумьемъ, убаюканнаго сорока думами, настигаетъ меня сонъ, незванный сонъ, властелинъ добродѣтелей.

„Онъ ударяетъ меня по глазамъ,—они тяжелѣютъ. Онъ касается моего рта—онъ остается открытымъ.

„По-истинѣ, на мягчайшихъ подошвахъ подходитъ ко мнѣ онъ, любезнѣйшій изъ воровъ, и воруетъ у меня мои мысли. И пустъ, и глупъ стою я, какъ эта каѳедра... Но недолго стою я: вотъ видите, укладываюсь спать". („Заратустра", перев. Нани).

„Когда Заратустра выслушалъ мудреца, онъ засмѣялся въ душѣ: свѣтъ новой истины открылся ему. И сказалъ себѣ Заратустра: „Дуракъ этотъ мудрецъ со своими сорока мыслями, но навѣрное, онъ умѣетъ хорошо спать".

Надъ чѣмъ и во имя чего смѣется тутъ Ницше—понять не трудно. Мнѣ думается, что единственный вопросъ, который онъ въ концѣ концовъ задавалъ человѣку, былъ таковъ: „Скажи, гдѣ твоя личность, гдѣ твое „я", хорошее или дурное, доброе или злое, но „я", которое выдѣляло бы тебя среди твоихъ ближнихъ и воистину давало бы тебѣ право на самобытное существованіе. Тотъ же въ сущности вопросъ задавалъ онъ и жизни: что дѣлаетъ она съ творчествомъ людей? Отчего всѣ люди такъ похожи другъ на друга, какъ новенькіе двугривенные: по шаблону жи-

вутъ, одѣваются, думаютъ и вѣрятъ. Надо только посмотрѣть, какими пустяками набита ихъ голова, по какимъ ровнымъ рельсамъ катятся ихъ мысли, какъ, точно по приказу или по рисунку, выражаютъ они свои чувства: ненавидятъ и любятъ, восхищаются и преслѣдуютъ. Но Ницше твердо зналъ, что человѣкъ долженъ имѣть свое „я“, долженъ выработать свой „стиль“, какъ онъ выражался, такъ что можно было бы быть увѣреннымъ и въ его „да“ и въ его „нѣтъ“. Но какъ же можно положиться на этихъ людей, которые живутъ чужими мыслями, вѣрой, напрокатъ взятой, внушенными чувствами и совсѣмъ безъ собственной воли? И основу всего этого Ницше никогда не забывалъ указать: это—стремленіе къ довольству и благополучію, т. е. совершенно мѣщанскій, филистерскій идеалъ новаго времени.

„ Я иду среди этихъ этихъ людей и дивлюсь: они *измельчали* и все еще мельчаютъ,—и *приводитъ къ этому ихъ ученіе о счастьѣ и добродѣтели*...

„Добродѣтелью они называютъ то, что дѣлаетъ ручнымъ и скромнымъ: имъ уже удалось такимъ путемъ превратить волка въ собаку, а самого человѣка—въ лучшее изъ домашнихъ животныхъ.

„Они вѣдь и въ добродѣтели своей скромны, ибо ищутъ благополучія. А съ благополучіемъ могутъ мириться лишь скромныя добродѣтели.

„Правда, и они проповѣдуютъ по-своему шаганіе, и даже шаганіе впередъ, но я называю это *ковыляніемъ*. И съ этимъ ковыляніемъ они мѣшаютъ всякому, кто спѣшитъ...

„Столько вижу я кругомъ доброты, столько слабости; столько справедливости и состраданія, столько слабости.

„Всѣ они кругленькіе, аккуратненькіе и добренькіе другъ

къ другу, какъ песчинки круглы, аккуратны и добры одна къ другой.

„Скромно обнять маленькое счастье — вотъ что они зовутъ „покорностью судьбѣ", и при этомъ они уже скромно косятся на слѣдующее маленькое счастье.

„Въ большинствѣ, они въ сущности желаютъ единственно одного,—чтобы никто не причинилъ имъ страданій. Вотъ почему они впередъ подбѣгаютъ къ намъ и дѣлаютъ намъ добро.

„И это—*трусость*, хоть и зовется она добродѣтелью!"

(Лихтенберже. CXL).

Эти людишки, очень и очень напоминающіе лиллипутовъ Свифта,—такіе же маленькіе крикливые и надменно самодовольные,—то и дѣло привлекаютъ къ себѣ вниманіе Заратустры, но довольно трудно опредѣлить, какъ онъ къ нимъ относится. Иногда съ улыбкой, иногда какъ будто съ жалостью, чаще же всего съ несомнѣннымъ презрѣніемъ. Но это презрѣніе нѣсколько особенное: ничего надменнаго, гордаго, холоднаго, уничтожающаго—вообще презрѣнія прусской военной каски къ войлочной шапчонкѣ тутъ нѣтъ. Тутъ ненависть, смѣшанная съ состраданіемъ, омерзеніе, вызванное назойливостью и наглостью людишекъ, и рядомъ съ этимъ — желаніе если не спасти ихъ (это невозможно), то предупредить насчетъ того, что ждетъ ихъ впереди. А впереди ждетъ самое скверное, потому что людишки напрасно твердятъ, что имъ все больше и больше *дается* (въ смыслѣ благополучія); въ дѣйствительности — все больше и больше *берется* отъ нихъ, все мельчаютъ они, пока не обратятся, наконецъ, въ земляныхъ блохъ.

„Смотрите.—говоритъ Заратустра, — я покажу вамъ послѣдняго человѣка. „Что такое любовь? Что такое творчество?

Стремленіе? Что такое звѣзды?"—Такъ спрашиваетъ послѣдній человѣкъ и при этомъ моргаетъ глазами. Малой стала земля: а по ней скачетъ послѣдній человѣкъ, который все умѣетъ умалить. Его порода неистребима, подобно земляной блохѣ, послѣдній человѣкъ—самый изо всѣхъ долговѣчный.

„Счастье найдено нами", — говорятъ послѣдніе люди и моргаютъ;

„Они покинули мѣста, гдѣ приходилось вести суровую жизнь, ибо тепло необходимо. Также любятъ они сосѣдъ сосѣда и жмутся другъ къ другу,—ибо тепло необходимо.

„Болѣть или проявлять недовѣріе считается у нихъ грѣхомъ: надо только ступать съ оглядкой. Одни безумцы еще спотыкаются о камни или о людей!

„Отъ времени до времени — небольшой пріемъ яда: это вызываетъ пріятныя сновидѣнія. А подъ конецъ — большой пріемъ яда, чтобы съ пріятностью умереть.

„Работать продолжаютъ, ибо работа служитъ препровожденіемъ времени. Но приняты мѣры, чтобы занятія ею не приносили ущерба.

„Никто уже не хочетъ ни бѣдности, ни богатства: и то и другое—слишкомъ обременительно.

„И кто захотѣлъ бы еще повелѣвать, и кто—подчиняться? И то и другое—слишкомъ обременительно.

„Пастуховъ нѣтъ, и всего-на-всего—одно стадо! Каждый желаетъ себѣ равной съ другими доли, всѣ—равны: кто настроенъ иначе, тотъ самъ отправляется въ домъ сумасшедшихъ.

„Въ прежнія времена весь міръ жилъ въ заблужденіи",—говорятъ самые умные, и моргаютъ.

„Всѣ умны и знаютъ все, что произошло; поэтому нѣтъ повода къ насмѣшкамъ. Ссоры еще случаются, но примиреніе наступаетъ скоро, во избѣжаніе желудочнаго разстройства. Разрѣшаютъ себѣ денное удовольствіе, есть свое удовольствьице и у ночи; но здоровье—выше всего.

„Счастье нами найдено", — говорятъ послѣдніе люди, и моргаютъ при этомъ.

(Лихтенберже. 159—160).

Послѣдній человѣкъ отдѣлался отъ всего, что когда-то тревожило его. Онъ нашелъ свое счастье, онъ не ищетъ больше ни богатства ни власти, — онъ научился спать. Но то, что въ глазахъ Заратустры составляло основу бытія людишекъ, ихъ самодовольство, которое питается сорока истинами и такъ сыто ими, что не хочетъ больше сорокъ первой и не ищетъ ея, — осталось при нихъ. Оно еще возросло, разбухло. Оно заняло мѣсто мозга и крови.

Но еще нѣсколько словъ объ этихъ людишкахъ въ ихъ стремленіи къ метаморфозѣ въ блоху, потому что самъ Заратустра ни на минуту не можетъ отдѣлаться отъ нихъ. Есть какая-то странная связь между этимъ величіемъ и этимъ ничтожествомъ, и людишки или около Заратустры, или же онъ думаетъ о нихъ. Вотъ странно: почему бы ему не взять да и махнуть рукою и не засѣсть въ своей пещерѣ, предаваясь познанію? Отъ людишекъ все равно ничего путнаго услышать нельзя, увидѣть въ ихъ жизни что-нибудь путное кромѣ пищеваренія—желудочнаго или мозгового—тоже ничего невозможно. Но Заратустру тянетъ къ нимъ, и онъ постоянно на ихъ сборищахъ... Зачѣмъ? И не бросаетъ ли это цѣнный просвѣтъ въ психологію Ницше-Заратустры? Мнѣ думается — да. Не презрѣніе и не отрицаніе даетъ онъ намъ въ концѣ концовъ, а проповѣдь прежде всего и послѣ всего проповѣдь, хотя и довольно безнадежную.

Однако—о людишкахъ.

У нихъ есть свои мудрецы, образчикъ которыхъ мы видѣли, есть своя наука и свои ученые. Эти ученые не признаютъ Заратустру ученымъ, и онъ очень радъ этому обстоятельству и благословляетъ за это свою судьбу. „Ибо это истина, — говоритъ онъ, — я выбылъ изъ дома ученыхъ и даже сильнымъ ударомъ захлопнулъ за собой дверь“. Онъ разсказываетъ дальше о своемъ разрывѣ съ учеными, разрывѣ творческаго ума съ овцами, способными только на жвачку. „Слишкомъ долго, — говоритъ Заратустра, — душа моя сидѣла у нихъ голодной за столомъ; я не могъ, какъ они, обращаться съ познаніемъ такъ легко, какъ щелкать орѣхи... Я слишкомъ горячъ; мои мысли меня обжигаютъ, дыханіе захватываютъ онѣ у меня. Тогда я рвусь на свободу. Но они, холодные, сидятъ въ прохладной тѣни: лишь зрителями всего хотятъ они быть и остерегаются выйти изъ тѣни на жаркое солнце... Подобно людямъ, праздно стоящимъ на улицѣ и зѣвающимъ на прохожихъ, ждутъ они мыслей, рожденныхъ другими. Дотронешься ли руками до нихъ — они пылятъ, какъ мучные мѣшки, и не по волѣ своей. Но кому же угадать, что пыль ихъ родилась изъ зеренъ, возросшихъ на солнечныхъ лѣтнихъ поляхъ?.. Они ловки, ихъ пальцы такъ умны: куда же моей простотѣ до ихъ расторопности! Все вмѣстѣ соткать, нанизать и соткать умѣютъ ихъ пальцы: такъ прядутъ и ткутъ они чулки изъ свободнаго духа... Подобно мельничнымъ ступамъ и жерновамъ ихъ

работа: только подбрасывай плодородныя зерна“ („Заратустра“, пер. Нани). Вообще ученый человѣкъ „похожъ на старую дѣву: подобно ей онъ безплоденъ. Онъ, правда, достоинъ всяческаго уваженія, но всегда и смѣшонъ немного; а въ глубинѣ души, такъ же какъ и та — недоволенъ своей судьбою. „Вглядимся попристальнѣе,— спрашиваетъ Ницше, -что это за человѣкъ, человѣкъ науки? Прежде всего это не человѣкъ благородной расы: всѣ его достоинства суть достоинства именно не благородной, т. е. не авторитетной, не властной, не знающей довольства собою человѣческой породы; объ обладаетъ трудолюбіемъ, терпѣніемъ и выносливостью къ „службѣ въ рядовыхъ“; его потребности очень ограниченны и вполнѣ соразмѣрны съ его силами, въ немъ живетъ инстинктивное стремленіе къ ему подобнымъ и ко всему, въ чемъ нуждаются эти ему подобные: такъ, напримѣръ, ему необходима та доза независимости, тотъ участочекъ зеленаго лужка, безъ которыхъ нельзя спокойно работать; ему необходима также и извѣстная доза почета и общественнаго признанія... этотъ ореолъ добраго имени, этотъ постоянно возобновляемый штемпель, воочію свидѣтельствующій о его значеніи и приносимой имъ пользѣ, штемпель, въ которомъ постоянно нуждаются всѣ зависимые люди, всѣ стадныя животныя, чтобы преодолѣвать *внутреннее къ себѣ недовѣріе*, составляющее основной пластъ въ глубинѣ ихъ душъ. Болѣзни и недостатки ученаго человѣка, разумѣется, тѣ самыя, какими вообще

страдаютъ люди неблагородныхъ расъ: ученый очень богатъ мелочной завистью и отличается чисто рысьей зоркостью, когда надо подсмотрѣть какую-нибудь низость въ натурахъ, до высоты которыхъ ему не подняться. Но самое скверное и опасное, чего можно ждать отъ ученаго, является у него подъ вліяніемъ инстинктивнаго сознанія всей посредственности его расы: это—то іезуитство, съ какимъ посредственность всегда старается уничтожить каждую незаурядную личность, сломить, а еще лучше, ослабить каждый туго натянутый лукъ... Именно ослабить, но, конечно, *ослабить* бережно, заботливой рукою, съ вкрадчивой состраданіемъ; вѣдь въ этомъ и состоитъ главное искусство іезуитства, которое всегда хорошо умѣло прикидываться религіей состраданія" (Лихтенберже, стр. 165).

Какъ вы видите, мотивъ критики Ницше на ученыхъ тотъ же самый, что и на современниковъ и на жизнь вообще. Это—отсутствіе творчества. Истинный ученый — это тотъ, кто говоритъ, кто создаетъ плодотворныя зерна, а не только перемалываетъ ихъ. Легко изъ десятка книгъ, сжавши ихъ подъ прессомъ, выжать одиннадцатую, но она не будетъ никогда первой изъ второго десятка, а только послѣдней изъ перваго. Тамъ—филистерство въ жизни, здѣсь — филистерство въ наукѣ, гордое своей высокой культурностью, самодовольное и напыщенное. Крѣпкій мостъ между нами—это трусость мышленія. Воплощеніе такого „Bildungsphilister'a" среди ученыхъ современни-

ковъ Ницше видѣлъ въ прославленномъ Давидѣ Штраусѣ. „Штраусъ не вѣритъ ни въ христіанскій рай, ни даже въ самое существованіе Бога, но не безпокойтесь: онъ хоть и атеистъ, но за всѣмъ тѣмъ и добродѣтельнѣйшій изъ смертныхъ... Въ области нравственныхъ понятій онъ не сдѣлаетъ никакихъ опасныхъ нововведеній“... „Онъ не отважится, напримѣръ, на откровенный совѣтъ всякой личности—стремиться къ свободному развитію всѣхъ ея свойствъ, стремиться къ тому, чтобы быть „самой собою“, не допуская здѣсь никакихъ ограниченій и зазрѣній совѣсти; нѣтъ, онъ укажетъ, правда, на естественное неравенство людей, но тутъ же присовокупитъ фразу, которая дастъ ему возможность реабилитировать всѣ правила прописной морали: „Ни на секунду не забывай, что и всѣ другіе—такіе же люди, какъ и ты, т. е., что при всѣхъ индивидуальныхъ различіяхъ они—то же, что и ты, имѣютъ такія же потребности и стремленія“. Но въ чемъ Штраусъ особенно сходится съ филистерами (и чѣмъ, разумѣется, всего больше раздражаетъ Ницше),—это заподозрѣваніе всего геніальнаго: онъ считаетъ „нездоровымъ“ все, выходящее за скромные предѣлы его пониманія, заявляетъ, напримѣръ, что IX-я симфонія Бетховена можетъ нравиться только тѣмъ, „кто все неправильное считаетъ геніальнымъ, а безформенное—возвышеннымъ“; онъ думаетъ уничтожить ненавистнаго ему Шопенгауэра посредствомъ такой милой болтовни: если плохъ міръ,—разсуждаетъ онъ,—то и мысль, его мыслящая, тоже плоха,

т. е. самъ пессимистъ плохой мыслитель, а, слѣдовательно, міръ-то—хорошъ! Для Ницше Штраусъ — типичная претенціозная посредственность, предъявляющая какія-то исключительныя притязанія: это трусъ мышленія, который никогда не рѣшается довести свою мысль до конца, а вѣчно останавливается на полъ-дорогѣ; это оптимистъ, малодушно закрывающій глаза на ничѣмъ неотвратимыя страданія человѣчества; это филистеръ, провозглашающій, что всѣ обязаны жить по-филистерски, и не только не способствующій развитію геніальныхъ личностей, а, наоборотъ, отказывающій въ правѣ на существованіе всему, что сколько-нибудь поднимается надъ уровнемъ банальности и посредственности.

Но, разумѣется, не этимъ своимъ вагнеровскимъ самодовольствомъ или іезуитизмомъ больше всего раздражали Ницше люди науки. Они раздражали его больше всего тѣмъ, что говорили: „Мы знаемъ все. Мы можемъ знать все“. Они какъ будто не чувствовали и не понимали трагической тайны жизни, которая самого Ницше повергала въ трепетъ и ужасъ. Они какъ будто не видѣли, что самый цѣнный вопросъ для человѣка — это вопросъ о смыслѣ жизни, и смѣялись надъ нимъ. Наука велика и нужна, но не всемогуща. Разумъ не проникаетъ въ тайну вселенной, не чувствуетъ даже родства человѣка съ ней. И эти постоянныя нападки на ученыхъ — встрѣча двухъ стихій, разсудочной и мистической, потому что, чѣмъ дальше, тѣмъ больше Ницше стано-

вился мистикомъ, но мистикомъ безъ Бога, а лишь съ ужасомъ своего безбожія, своего религіознаго одиночества.

Ученые вяжутъ чулки изъ дѣятельности свободнаго духа. Они не понимаютъ величія генія, они, какъ пауки, ждутъ грамматическихъ ошибокъ отъ поэта. Они мѣщански пошлы и филистерски ограниченны. И, наконецъ, кому и чему служатъ они? Только тому, чтобы люди могли когда-нибудь устроить свое „благополучіе“.

Но благополучіе, какъ и самомалѣйшую выгоду, Ницше ненавидѣлъ.

Идеалъ самого Ницше не имѣетъ, разумѣется, ничего общаго съ идеаломъ людишекъ. Этотъ идеалъ весь исчерпывается понятіями силы, красоты, личнаго могучаго творчества; и онъ-то вдохновляетъ его ожесточенную критику современности на срываніе всѣхъ покрывалъ, подъ которыми, кто же это знаетъ, что скрывается — боги или чурбаны? Тотъ же идеалъ заставляетъ Ницше пѣть радостные гимны въ честь жизни, хотя, признаюсь откровенно, эти радостные гимны производятъ порою такое впечатлѣніе, какъ будто они вырываются изъ судорожно сжатаго горла у человѣка „съ веревкой“ на шеѣ. Впрочемъ, кѣмъ, въ сущности, другимъ и былъ Ницше, несмотря на всю страстность его исканій и все трагическое величіе его порывовъ? Вѣдь веревка съ каждымъ днемъ затягивалась все туже, и это Ницше пре-

восходно чувствовалъ. Глаза совсѣмъ отказывались служить,—нельзя было ничего читать... Только голова работала попрежнему, еще страстнѣе и возбужденнѣе, впрочемъ, уподобляясь какому-то мощному вулкану, особенно поражающему своей красотой и силой, своей яростной мощью передъ тѣмъ, какъ окончательно потухнуть...

Личность унижена, больше пожалуй,—ея нѣтъ на сценѣ. Человѣкъ разучился даже смотрѣть: онъ умѣетъ только „моргать". Онъ ничего не ищетъ, потому что, къ чему эти поиски, когда съ одной каѳедры сразу можно узнать сорокъ истинъ и двѣнадцать правилъ добродѣтели. Зачѣмъ стремиться куда-то, если можно такъ хорошо и спокойно спать въ мирѣ съ ближними и собственной совѣстью? Зачѣмъ творить и созидать новыя цѣнности, когда и старыя такъ хороши и привычны и умѣютъ такъ сладко убаюкивать засыпающаго? Откуда-то изъ далекихъ временъ, изъ ихъ таинственной глубины доносятся отзвуки миѳовъ и легендъ. Какъ будто въ нихъ разсказывается о какихъ-то богахъ и герояхъ, проводившихъ свою жизнь въ борьбѣ и подвигахъ, презиравшихъ страданія и самое смерть Ихъ, этихъ боговъ и героевъ, влекла къ себѣ тайна жизни. И ради нея, чтобы сдернуть скрывающее покрывало, чтобы проникнуть въ невѣдомыя области, они, эти странные люди, очевидно совсѣмъ другой породы, чѣмъ моргающіе современники, пускались на своихъ скорлупахъ въ далекія моря, открывали новыя страны. Они совер-

шали насилія, проливали кровь, ни жалость, ни состраданіе не знали доступа въ ихъ сердце, но зато они были прекрасны и мужественны, они не знали трепета и дрожи, ихъ руки не протягивались для предательскихъ объятій, ихъ уста не раскрывались для лжи *). Они творцы и созидатели человѣческой жизни, которая продолжается еще лишь потому, что остались какіе-то обрывки, какое-то смутное воспоминаніе о мужествѣ давно прошедшихъ временъ. На ихъ счетъ тлѣетъ и наше существованіе. Вѣдь жизнь—это страданіе, страданіе прежде всего и, чтобы жить, надо стать выше этого страданія,—иначе оно погубитъ тебя. И герои умѣли это дѣлать, чѣмъ и разрѣшали великую загадку бытія.

Но моргающій человѣкъ не хочетъ ничего слышать о давно прошедшихъ временахъ. Онъ не понимаетъ героевъ, и ихъ подвиги для него безразличны. Никуда его не тянетъ, потому что все нужное—„мягкое и теплое“—есть подъ руками: никакая тайна не тревожитъ его воображенія, потому что онъ все знаетъ. Онъ знаетъ, что его цѣль на землѣ—добиться счастья, и добился его. Онъ знаетъ, что такое звѣзды и небо, потому что это разъяснили ему ученые, и знаетъ гораздо большее,—какимъ путемъ человѣкъ можетъ стать довольнымъ собой. Чего же еще? И онъ отмар-

*) По терминологіи Ницше—это мораль господъ. Противоположная ей мораль рабовъ возводитъ въ добродѣтель всѣ качества, собирательное имя которымъ—уступчивость при помощи жертвъ собственнымъ достоинствомъ личности.

гивается отъ непріятныхъ и прямыхъ вопросовъ, и отмахивается отъ непріятныхъ и прямыхъ призывовъ. Главное, онъ боится страданія и не любитъ даже упоминанія о немъ; но боясь страданія и избѣгая его, онъ оборвалъ свою связь съ источникомъ жизни, такъ какъ „только страданіе дѣлаетъ человѣка человѣкомъ“.

Моргающіе люди заботятся о своемъ здоровьѣ и довольствѣ. Больше имъ ничего не надо. Во имя этихъ же благъ, самыхъ цѣнныхъ для нихъ, они спокойно мирятся съ скудостью своей жизни, принимаютъ на вѣру все успокаивающее, все лавровишневое, и боятся думать, такъ какъ знаютъ, что эти мысли идутъ очень часто дальше, чѣмъ допускаетъ ихъ благоразуміе.

Жизнь для Ницше—это трепетъ, это хожденіе по краю пропасти, которая неотразимо тянетъ въ себя своею зіяющей глубиной, это—страданія духа, ищущаго истину, это—подвиги и творчество.

Но для подвиговъ, для творчества, нужна сила, нуженъ внутренній огонь, нужна страсть, нужны жертвы. И только въ этихъ-то подвигахъ и состоитъ истинная трагическая красота жизни. Что же, спрашивается, было дѣлать ему съ моргающими людьми, боящимися страданія и дрожащими при одномъ словѣ—жертва?

„Ницше, — говоритъ Лихтенберже, — представлялъ собою трагическаго мыслителя въ обстановкѣ цивилизаціи сократовскаго типа. Ницше мыслитъ жизнь человѣческую за борьбу противъ всякихъ заблужденій, всякихъ иллюзій“.

Надо видѣть въ природѣ страшную, часто вредоносную силу; надо признать исторію жестокой, насильствующей и безсмысленной; надо подчиниться всему этому, какъ это дѣлаютъ моргающіе люди, забыть обо всемъ этомъ, или возвыситься надъ вредоносной силой природы, надъ безсмыслицей исторіи и проникнуться духомъ старой греческой трагедіи, трагедіи Эсхила и Софокла, словомъ, духомъ „оргіазма“, „какъ ощущенія черезъ край бьющихъ жизненныхъ силъ, ощущенія, для котораго самое страданіе является только лишнимъ стимуломъ для новой дѣятельности, новыхъ подвиговъ...“ „Признаніе жизни во всѣхъ, даже самыхъ дикихъ и жестокихъ ея коллизіяхъ, жажда жизни, съ ликованіемъ усматривающая собственную неизсякаемость даже въ фактѣ закланія высшихъ своихъ типовъ, — вотъ то, что (говоритъ Ницше) я обозначилъ именемъ діонисовскаго,“ и вотъ то,—прибавлю я отъ себя,—чего онъ хотѣлъ отъ людей, и потеря чего представлялась ему самой цѣнной и невознаградимой потерей человѣчества. Надо жить и умирать, какъ жилъ и умиралъ Эдипъ Эсхила, жить среди подвиговъ, въ признаніи того, что и личная твоя гибель—неотвратимая и неизбѣжная — проявленіе той же помощи жизни. И эту гибель надо встрѣтить съ радостнымъ мужествомъ. Смыслъ жизни не въ счастьѣ и довольствѣ, а въ „вѣчной, стоящей выше страховъ и жалостей, радости бытія, радости быть самимъ собою, той радости, которая заключаетъ въ себѣ и *радость уничтоженія*“.

Страданіе неизбѣжно; мало того, только черезъ страданіе природа достигаетъ творчества высшихъ своихъ формъ; ставши выше его, человѣкъ достигаетъ пониманія *трагической красоты жизни.*

Страданіе во всемъ: оно въ неудовлетворительности воли, въ неизбѣжности смерти. Къ чему, какъ не къ страданію приводитъ насъ самая наука, ставя лицомъ къ лицу съ неразрѣшимыми вопросами, съ загадкой жизни, которая такъ и останется загадкой? Мы напрасно стучимся въ эту навѣки запертую дверь тайны своими вѣсами и ретортами, своими вычисленіями и силлогизмами. Отвѣта нѣтъ. Въ этомъ-то и заключается грубая ошибка ученыхъ, что „въ своемъ оптимизмѣ они держатся наивной вѣры, что весь міръ—и въ цѣлости, и въ частяхъ—вполнѣ доступенъ нашему познанію, что знаніе есть высшее благо, какъ невѣжество—источникъ всѣхъ золъ, и что наука дѣлаетъ для человѣка достижимой любую степень совершенства до трагическаго героизма включительно. Въ дѣйствительности этого нѣтъ. Нисколько не унижая величія и красоты научнаго творчества, какъ и творчества вообще, Ницше отказывается отвести ему первую и рѣшающую роль въ жизни.

Больше того,—онъ возстаетъ противъ самой возможности разумнаго или разсудочнаго устройства человѣческаго существованія, считаетъ это иллюзіей и самообманомъ, который держится въ насъ со времени Сократа. Сократъ сказалъ, что можно научиться добродѣтели, которая даетъ

счастье. Значитъ, можно научиться счастью. Людишки радостно ухватились за эту мысль и, пустивши въ ходъ всю изворотливость, плутовство и лукавство своего маленькаго ума, поставили въ концѣ концовъ слабыхъ надъ сильными и торжествуютъ.

Развѣ разсудкомъ живетъ человѣкъ? Развѣ разсудокъ можетъ раскрыть человѣку смыслъ его существованія? Нѣтъ, никогда,—отвѣчаетъ Ницше и называетъ разсудокъ „маленькимъ умомъ человѣка". „Позади твоихъ чувствъ и мыслей,—говоритъ онъ,—о мой братъ, находится могучій повелитель, невѣдомый мудрецъ. Онъ называется „самъ". Онъ живетъ въ твоемъ тѣлѣ, онъ—твое тѣло"! „Тѣло,—поясняетъ Лихтенберже,—со всѣми его инстинктами, съ одушевляющимъ его желаніемъ властвовать",—вотъ что у Ницше носитъ названіе „великаго разума"; что же касается „малаго разума", которымъ люди такъ склонны гордиться, и полновластную свободу котораго такъ часто превозносятъ, то этотъ „разумъ" есть лишь орудіе, конечно, цѣнное, но несовершенное и хрупкое, и это орудіе только служитъ „самому" для расширенія его власти. Чтобы оказать вліяніе на другого, надо во что бы то ни стало добиться пониманія отъ этого таинственнаго „самого" чужой личности,—если этого нѣтъ, то и ничего нѣтъ. Трудно себѣ представить что-нибудь безплоднѣе упорнаго старанія при помощи одной только логики построить философскую систему или попытокъ во что бы то ни стало убѣдить умъ ар-

гументами исключительно раціональнаго характера.

Человѣкъ живетъ повелѣніями своего великаго разума, если хотите—воли, характера, всего организма съ его таинственной подпочвой наслѣдственности. Всѣ, такъ называемыя, интеллектуальныя добродѣтели, — благоразуміе, осторожность, даже мудрость, — обречены на второстепенную, служебную роль.

Что прежде всего можетъ сдѣлать маленькій разумъ съ основнымъ фактомъ жизни, — необходимостью и неизбѣжностью страданія? Только одно,—создать такіе обманы и иллюзіи, которые скрыли бы этотъ основной фактъ и внушили бы человѣку ложную мысль о томъ, что онъ не обреченъ на страданіе, а предназначенъ къ счастью. Но не значитъ ли это поставить вверхъ ногами смыслъ человѣческой жизни.

Болѣе ожесточеннаго врага идеалъ человѣческаго счастья не имѣлъ, какъ кажется, въ XIX в., чѣмъ Ницше. Ближе всѣхъ въ этомъ отношеніи онъ подходитъ къ Карлейлю, который также смѣялся надъ заботами людей о счастьѣ, покоѣ и довольствѣ, называя это „pig's philosophy"—свиной философіей, верхомъ творчества которой явился бы хорошо устроенный свинятникъ. Но Карлейль звалъ къ Богу, къ религіозному экстазу, Ницше—только къ „оргіазму", къ вдохновенному творчеству въ области познанія, къ чисто эстетическому восторгу передъ мощью природы и жизни, уничтожающей самыхъ цѣнныхъ своихъ предста-

вителей. Стань выше этой непонятной для тебя природы, этой безсмыслицы жизни, этой жестокости природы, стань выше своего страданія, неизбѣжности смерти, и съ радостнымъ смѣхомъ иди навстрѣчу готовой поглотить тебя стихіи.

Потребность обоготворенія такъ сильна въ человѣкѣ, что когда „всѣ боги умерли“ въ сердцѣ его, онъ начинаетъ обоготворять силу, потому что „соразмѣрная сила прекрасна и заключаетъ въ себѣ нѣчто божественное“. Въ этомъ случаѣ Ницше не избѣгъ общей участи, какъ всегда, доводя свою мысль до пугающихъ крайностей. Онъ дошелъ до восторговъ передъ Цезаремъ Борджіа и коварствомъ Брунгильды, этой фуріи нѣмецкаго миѳа, хотя исторія рисуетъ намъ Цезаря лишь сильнымъ надъ слабыми, а миѳъ прямо говоритъ про Брунгильду, что, переставъ быть дѣвственницей, она утеряла и силу свою и стала въ двѣнадцать разъ слабѣе. Но эти колючіе шипы проповѣди Ницше можно оставить въ покоѣ. Это только романтическая греза, которой нуженъ былъ рѣзкій образъ лишь для того, чтобы подчеркнуть, какъ малы и трусливы современные люди. Вся сила ихъ души обращена на то, чтобы владѣть и владѣть какъ можно большимъ. Но не для Ницше былъ этотъ идеалъ обладанія и эта нравственность довольства.

Онъ весь—порывъ, стремленіе, неудовлетворенность. Онъ одинъ изъ тѣхъ, кто заглянулъ въ ро-

ковую тайну жизни, игру ея стихійныхъ силъ, увидѣлъ ея зіящую пустоту, которая *всѣмъ* грозила человѣку и *ничего* не давала ему утѣшительнаго взамѣнъ, которая спокойно, какъ бы играя, отнимаетъ у него все, самое дорогое, и въ своемъ великолѣпномъ невѣдѣніи, въ гордости огромнаго жизненнаго звѣря идетъ дальше для новаго разрушенія и для новаго созиданія. Но онъ не покорился... „Не гнѣвомъ убиваютъ, — говоритъ Заратустра, — но смѣхомъ. Впередъ же! Убьемъ великаго духа тяжести и унынія“ („Заратустра“, страница 87).

Въ „Веселой наукѣ“ онъ разсказываетъ о томъ ужасѣ, который охватилъ его и долженъ охватить, въ концѣ концовъ, всѣхъ людей, когда они поймутъ, что вокругъ нихъ никого и ничего нѣтъ, кромѣ зіяющей пустоты... Онъ представилъ себя въ видѣ безумца, который среди бѣлаго дня, съ зажженнымъ факеломъ въ рукѣ, бѣгалъ по улицамъ, въ тоскѣ по Богѣ.

Безумецъ увидѣлъ, что пришелъ слишкомъ рано съ своимъ открытіемъ, и что люди не понимаютъ его. Но для него стало яснымъ, что̀ онъ утерялъ. На что же опереться теперь?

„Онъ искалъ опору вездѣ, гдѣ могутъ искать люди, шелъ всюду, гдѣ могъ найти пріютъ себѣ. И къ ученымъ онъ явился съ лучшими намѣреніями, безъ всякаго желанія критиковать, повѣрять, насмѣхаться. Онъ убѣждалъ себя, что нѣтъ болѣе сладкаго меда, чѣмъ медъ познанія, и подъ познаніемъ разумѣлъ науку, которая до него су-

ществовала, и которая, онъ надѣялся, можетъ утолить его духовную жажду. Нѣсколько лѣтъ подъ рядъ живетъ онъ, припавши изсохшими губами къ позитивизму, все ожидая, когда изъ „тяжелаго вымени грусти польется укрѣпляющее молоко?“ (Шестовъ, стр. 147).

Наука не дала ему опоры. Тоже и обыкновенная мораль.

„Неуязвимой,—говоритъ Заратустра,—осталась лишь пята моя! Моя воля! Ты все еще живешь, вѣрная, терпѣливая! Сквозь ряды всѣхъ могилъ ты пробилась! Въ тебѣ живутъ всѣ невысказанныя стремленія моей юности; и какъ сама жизнь, какъ сама юность, ты сидишь съ надеждой въ душѣ на пожелтѣвшихъ обломкахъ могилъ! Да, ты разрушительница всѣхъ могилъ; слава тебѣ, моя воля! И лишь тамъ, гдѣ могила,—тамъ пробужденіе бываетъ...“

Но чтобы воля могла быть опорой — она должна быть могучей и сильной, должна быть волей господина, а не раба, должна оправдать свое желаніе властвовать, т.-е осуществлять свои стремленія, все расширять и расширять предѣлы своего вліянія и питаться всѣмъ, что даетъ ей жизнь. И Ницше поетъ гимнъ властолюбію и себялюбію, т.-е. силѣ.

„*Властолюбіе!* кто же назоветъ это болѣзнью, если высшее жаждетъ власти надъ низшимъ! Истинно — нѣтъ ничего хилого и больного въ такомъ желаніи и снисхожденіи! Чтобы одинокая высота не осталась одинокой вѣчно! Чтобы вер-

шина горы спустилась къ долинѣ внизъ! Чтобы горный воздухъ повѣялъ въ ущельяхъ! О, кто найдетъ, кто дастъ достойное имя этимъ желаніямъ! „Дарящая добродѣтель“, — такъ назвалъ однажды Заратустра то, кому нѣтъ имени.

„И тогда свершилось, — поистинѣ свершилось впервые, — что слово его вознесло хвалу *Себялюбію*, святому, здоровому себялюбію, вытекающему изъ могучей души: изъ *могучей души* и принадлежащаго ей *мощнаго тѣла, прекраснаго, добраго, побѣдоноснаго*, которому все окружающее будетъ служить отраженіемъ и зеркаломъ, *стройное, гибкое тѣло, исполненное веселья*, — образъ души своей. Люди *такого* тѣла и такой души къ самимъ себѣ называютъ себя „Добродѣтелью“. И слова этой добродѣтели о добрѣ и злѣ защищаютъ ее, какъ святыя дубравы и рощи; имена, которыя она даетъ своему счастью, прогоняютъ отъ нея все презрѣнное. Отъ себя она гонитъ все робкое и трусливое; она говоритъ: „дурное—это презрѣнное“. Презрѣннымъ кажется ей все жалкое, вздыхающее, озабоченное, а также и тотъ, кто подбираетъ свои выгоды, даже наималѣйшія. Она презираетъ также всякую печалящуюся мудрость, ибо истина — это есть мудрости, которыя расцвѣтаютъ подъ покровомъ мрака, въ тѣни ночи. Боязливое недовѣріе и каждый, кто хочетъ клятвъ вмѣсто взоровъ и рукъ, — слишкомъ мелко для этой любви; также и слишкомъ недовѣрчивая мудрость, потому что она живетъ въ трусливыхъ душахъ. Но ничтожнѣйшій еще для нея тотъ,

кто проникнутъ желаніемъ угодливости, смиренный какъ собака, на спину ложащаяся; поистинѣ есть и такая мудрость—смиренная и угодливая собака... Ненавистенъ и даже противенъ ей тотъ, кто никогда не хочетъ сопротивляться; кто всегда готовъ проглотить ядовитый плевокъ, злые взгляды: всетерпѣливый, всевыносящій, всѣмъ довольный. Это свойство раболѣпія; все раболѣпствовать передъ людьми и ихъ тупоумными мнѣніями. Святая любовь къ самому себѣ смѣетъ на всѣ роды холопства. Худо все надломленное и робко согнувшееся, робкое миганіе глазъ, угнетенное сердце и лживая уступчивость, цѣлующая толстыми, трусливыми губами."

„Лжемудростью зоветъ себялюбіе все, чѣмъ мудрствуютъ старики, усталые и холопы" („Заратустра" 98—101) *).

Но было ли это человѣческое „я" такой прочной опорой въ глазахъ... хотя бы самого Ницше? Дѣйствительно ли „пребываніе на горной вершинѣ" въ великолѣпномъ отреченіи отъ соблазновъ міра можетъ наполнить все его существо?..

Самъ Ницше чувствовалъ, что нѣтъ. Онъ, отказавшись отъ иллюзій и обмановъ, создалъ свои

*) Это мѣсто представляется мнѣ центральнымъ для пониманія „Заратустры". Обоготвореніе силы, жажда свободы и обновленія, исканіе опоры лишь въ своемъ сильномъ, властномъ „я" и чудная ненависть ко всему рабскому, трусливому, холопскому, составляющая красоту проповѣди Ницше,—все это яркимъ взрывомъ наполнило и освѣтило эти строки.

иллюзіи и обманы. Отказавшись отъ Бога, онъ выдумалъ сверхчеловѣка, отказавшись отъ безсмертія души—свое безсмертіе или теорію безконечнаго возрожденія все той же жизни въ мельчайшихъ ея подробностяхъ. И, совершивши полный кругъ, критика Ницше вернулась къ Богу, безсмертію, хотя и подъ другими именами.

Обоготворенное „я“ живетъ не для себя, какъ бы слѣдовало такой гипостази, а для того, чтобы жилъ сверхчеловѣкъ. Когда же придетъ онъ? „Это событіе еще въ пути, еще идетъ, еще не дошла вѣсть о немъ до человѣческихъ ушей. Молніи и грому нужно время, свѣту звѣздъ нужно время, чтобы ихъ увидѣли и услышали. Это пока еще дальше, чѣмъ самыя отдаленныя свѣтила“. Такъ, повидимому, можно отвѣтить на поставленный вопросъ словами самого Ницше.

Кто такой сверхчеловѣкъ? Это творецъ и созидатель новыхъ нравственныхъ цѣнностей, расширяющихъ содержаніе жизни. Въ этомъ смыслѣ каждый изъ живущихъ и жившихъ—сверхчеловѣкъ. Но его творчество интенсивное. По простотѣ своей, величію и могуществу это—творчество отвергнутаго Ницше-бога. „Сверхчеловѣкъ создаетъ свою истину и свое добро. Онъ безстрашный изслѣдователь, экспериментаторъ (Versucher), неизмѣнно преслѣдующій свою задачу—нахожденіе новыхъ формъ жизни, и въ цѣляхъ своихъ опасныхъ экспериментовъ онъ безтрепетно ставитъ на карту какъ свою собственную жизнь и счастье, такъ равно—жизнь и счастье всей массы руково-

димыхъ имъ существъ. Онъ — чудный, смѣлый игрокъ, играющій съ судьбою въ страшную игру— на жизнь и на смерть".

И въ сущности не на жизнь, а на смерть только, ибо онъ не безсмертенъ, а только безконечное число разъ возрождающійся.

Но во имя чего идетъ эта игра? Въ своемъ героическомъ пессимизмѣ Ницше могъ отвѣтить только одно: во имя свободы и могущества своего творчества, во имя сознанія той истины, которая живетъ въ немъ, во имя стихійнаго требованія своихъ діонисіевскихъ силъ.

Личное безсмертіе не принадлежитъ сверхчеловѣку. Оно принадлежитъ только жизни; сверхчеловѣкъ только возрождается. Вотъ почему:

„Постоянное, опредѣленное количество силъ природы на протяженіи безконечно большого времени сочетается въ безконечномъ рядѣ комбинацій. И такъ какъ время *безконечно велико*, а количество силъ *конечное*, то, какъ бы огромно ни было это количество и какъ бы ни было безмѣрно число возможныхъ комбинацій,—все же неизбѣжно долженъ наступить такой моментъ, когда естественная, не руководимая никакой разумной силой игра возможностей приведетъ къ повторенію уже осуществленной нѣкогда комбинаціи; а эта послѣдняя, во исполненіе всемірнаго закона причинъ и слѣдствій, поведетъ за собою весь рядъ ею обусловленныхъ, также имѣвшихъ уже мѣсто комбинацій. Такимъ образомъ оказывается, что вселенная въ своемъ развитіи вѣчно должна повторять однѣ и тѣ же фазы, что она вѣчно описываетъ огромный, но все же конечный по своимъ размѣрамъ кругъ.

„Каждая отдѣльная жизнь представляетъ собою микроскопически малый отрѣзокъ этого великаго суммарнаго круга. Каждый индивидъ, стало быть, въ прошломъ уже

безконечное число разъ переживалъ *ту самую* жизнь, которою живетъ теперь, и вѣчно будетъ повторять ее также и въ будущемъ. „Каждое состояніе, въ какомъ только *возможно* очутиться міру, уже должно было имѣть мѣсто въ прошедшемъ, и не разъ, а неисчислимое количество разъ. Вотъ и настоящее мгновеніе: оно уже когда-нибудь приходило и много разъ, и опять возвратится совершенно такое же, при совершенно томъ же распредѣленіи силъ, какое имѣется теперь: и такъ же было съ мгновеніемъ, которое породило настоящее мгновеніе, и такъ же будетъ съ тѣмъ, которое родится отъ настоящаго. Человѣкъ! Жизнь твоя, вся цѣликомъ, вѣчно будетъ, подобно песочнымъ часамъ, перевертываться на прежнее положеніе и затѣмъ снова истекать,— черезъ промежутокъ времени въ огромную минуту, въ теченіе которой всѣ породившія тебя условія опять успѣютъ собраться воедино въ круговоротѣ мірового движенія. И тогда ты снова найдешь каждую свою боль и каждую свою радость, и каждаго друга и каждаго врага, и каждую надежду, и каждое заблужденіе, и каждую былинку, и каждый солнечный лучъ, и совокупность всего вообще. Блескъ этого кольца, одну изъ точекъ котораго ты собою представляешь, вѣчно повторяется. И въ каждомъ кольцѣ жизни человѣчества всегда приходитъ такой часъ, когда съ особенной силой всплываетъ, сначала въ комъ-нибудь одномъ, затѣмъ во многихъ и, наконецъ, во всѣхъ, одна мысль, мысль о вѣчномъ возвращеніи всего на свѣтѣ: и для человѣчества это каждый разъ—часъ полудня“ (Лихтенберже, стр. 199—200).

Это очень остроумно, какъ и все написанное Ницше, быть можетъ, глубоко даже, но вѣдь пока и для самого Ницше, и для насъ—это лишь красивая иллюзія, яркая звѣзда на небѣ, насчетъ которой мы рѣшительно не знаемъ, горитъ ли она, или уже погасла, есть она или нѣтъ.

Но вотъ еще одна и самая яркая—самообманъ-

иллюзія Ницше и крупная уступка человѣческой обыденности. Онъ мечталъ о томъ, чтобы всегда жить при яркомъ свѣтѣ, въ полдень; онъ съ презрѣніемъ говоритъ о моргающихъ, которые принимаютъ немножко усыпляющаго, потомъ усыпляющаго побольше; Заратустра хочетъ яснаго сознанія и яснаго пониманія. Но, основательно или неосновательно, люди всегда искали и ищутъ того же забвенія своего „я“, такъ какъ со своимъ „я“ жить нельзя. Чудно угадалъ это Толстой въ строкахъ „Войны и міра“: „Всѣ люди,—читаемъ мы тамъ,—представлялись Пьеру солдатами, спасающимися отъ жизни: кто честолюбіемъ, кто картами, кто писаніемъ романовъ, кто пирушками, кто женщинами, кто лошадьми, кто политикой, кто виномъ, кто государственными дѣлами. Только бы не видѣть ее, эту страшную ее“...

Для Ницше, натуры религіозной, утерявшей своего Бога, — для Ницше при его странной болѣзни, для этого жреца познанія, постигшаго, что ничего постичь нельзя, для человѣка, поставившаго главной своей задачей найти смыслъ жизни и, наконецъ, убѣдившагося, что въ природѣ и исторіи нѣтъ смысла, забыть ее, эту страшную ее — представлялось первой задачей, вопросомъ жизни и смерти. Но какъ забыть? Чтобы забыть,— надо прежде всего уйти въ чужое „я“, въ семью, общество, въ писаніе романовъ... Ницше рѣшилъ задачу романтически: онъ ушелъ въ грезы о сверхчеловѣкѣ, въ свое творчество. И это-то творчество, напряженное, горящее какъ вулканъ, и бы-

ло, конечно, для него самымъ цѣннымъ выходомъ. Науку и искусство онъ считалъ самыми могущественными средствами противъ пессимизма и „подобно тому, какъ художникъ говоритъ жизни: тобою стоитъ жить, потому что образъ твой прекрасенъ,—ученый говоритъ ей: я желаю тебя, ибо ты достойна познанія. Научное открытіе даетъ ученому то же наслажденіе, какое художникъ получаетъ отъ аполлоновскаго видѣнія. Съ этой точки зрѣнія, иллюзія науки столь же благотворна, какъ и аполлоновская или діонисовская иллюзія. Но не слѣдуетъ забывать, что благотворное дѣйствіе науки зависитъ не отъ открываемыхъ ею истинъ: оно обусловлено самымъ *процессомъ* научнаго изслѣдованія“.

Процессъ научнаго и художественнаго творчества не открываетъ, разумѣется, смысла жизни: онъ только придаетъ ей его путемъ діонисовской иллюзіи, т.-е оргіазма, вакханаліи мысли и творчества. Но, гдѣ и въ чемъ большее забвеніе самого себя и своихъ вопросовъ?

Пусть читатель вспомнитъ еще о презрѣніи Ницше къ малому разуму. И онъ не могъ не презирать его, потому что при немъ все слишкомъ ясно, при немъ

„Жизнь, какъ посмотришь съ холоднымъ вниманьемъ вокругъ.
Такая пустая и глупая шутка...“

Этого-то и боялся Ницше. И онъ видѣлъ поэтому руководителя жизни въ великомъ разумѣ,—томъ таинственномъ „самъ“, который жи-

ветъ прежде всего безсознательной, стихійной жизнью, ея инстинктомъ и заставляетъ въ минуты творческаго вдохновенія, оргій познанія, замолкать этотъ маленькій разумъ съ его назойливыми вопросами, зачѣмъ и почему.

Когда человѣкъ даетъ или хочетъ дать просторъ инстинкту безъ самомалѣйшей практической выгоды въ виду, онъ ищетъ того, что для него самое цѣнное,—забвенія.

Пора подводить итоги.

Какъ всякая индивидуалистическая система, обожествляющая человѣческое „я“, система Ницше ничего положительнаго не даетъ. Въ ней нѣтъ ни одного объективнаго положенія, которое мы были бы обязаны принять; нѣтъ ни одного историческаго факта, котораго мы не могли бы оспаривать, начиная съ психологіи бѣлокураго звѣря и кончая теоріей періодическаго воскресенія. Но Ницше и не хотѣлъ дать системы; онъ, боявшійся догмы, не указалъ ни одной самомалѣйшей. Онъ разсказываетъ свою жизнь и свои страданія; онъ весь передъ нами въ своихъ книгахъ—съ своимъ радостнымъ „да“ обреченнаго на смерть, со своимъ „нѣтъ“ въ отношеніи всего мѣщанскаго, самодовольно плоскаго, разсудочнаго. Написанное имъ—это—настоящая лирическая поэма, лирическая поэма одиночества и отверженности и мукъ, вызванныхъ одиночествомъ и отверже-

ностью. Это самая современная изъ всѣхъ современныхъ поэмъ...

Не надо повторять за Ницше: „падающаго подтолкни“, такъ какъ, кого назовемъ мы падающимъ? Не надо повторять за Ницше: „я люблю только силу“, такъ какъ кто же можетъ быть названъ сильнымъ передъ безсмысленностью исторіи и жестокостью исторіи? Кто вообще силенъ передъ пустотой зіяющей бездны? Но надо повторять за Ницше: „страшно человѣку быть одному“, надо повторять, такъ какъ съ каждымъ днемъ человѣкъ становится болѣе одинокимъ. Одинокими Заратустра называетъ дряхлыхъ, усталыхъ и тоскующихъ,—но кто изъ насъ не усталый и не тоскующій, а многіе и дряхлы къ тому же съ самаго дня своего рожденія.

Заратустра стонетъ отъ своего одиночества, отъ невысказанной и неудовлетворенной жажды любви. Онъ начинаетъ свой гимнъ ночи словами: „Мракъ ночи насталъ; проснулися пѣсни всѣхъ любящихъ. Душа моя,—вѣдь она тоже пѣснь любящаго. Неукротимое, необузданное ношу я въ себѣ: громко хочетъ оно высказаться. Желаніе любви ношу я въ себѣ, желаніе, говорящее языкомъ любви“... И дальше—этотъ крикъ и стонъ: „Мракъ ночи насталъ: о! то, что я долженъ быть свѣтомъ! И жажда тьмы и одиночества!..“

Тѣмъ страшнѣе было оно для него—это одиночество.

Но онъ жилъ въ немъ и обожествилъ его. Оно принесло ему одни страданія,—онъ обожествилъ

страданіе. „Кто хочетъ выстроить новое небо—тотъ долженъ носить въ себѣ адъ“. Онъ не построилъ новаго неба, но открылъ „адъ“ современной души. И этотъ адъ—ея одиночество. Откуда оно? Ницше постоянно говоритъ и указываетъ, откуда. Не въ богатой, разнообразной, исполненной вакханаліи мысли и творчества жизни, которую когда-то устроитъ сверхчеловѣкъ, люди одиноки, — они одиноки въ скупой и тусклой жизни современности. Одиноки именно *люди*, т. е. у кого есть свое „я“, своя мысль, свои стремленія. Здѣсь имъ нечего дѣлать. Здѣсь среди моргающихъ имъ нѣтъ мѣста, потому что у моргающихъ есть свои сорокъ истинъ и дюжина добродѣтелей. Новаго они не хотятъ ничего, и кто таитъ въ себѣ новое, долженъ уйти отъ нихъ.

Люди думаютъ, что культура даетъ имъ все, что *нужно*. Все, что не нужно,—говоритъ Ницше. Все нужное она отнимаетъ отъ нихъ. Иначе, какъ дошли бы они до тупости, самодовольства и опять—одиночества.

Вся ложь и лицемѣріе высококультурнаго общества вскрыты Ницше. Развѣ вы не слышите грознаго предупрежденія въ его словахъ: „Я иду среди людей и дивлюсь: они измельчали и все еще мельчаютъ... Они вѣдь и въ добродѣтели своей мелки, ибо ищутъ благополучія“... Въ этихъ маленькихъ, кругленькихъ и добренькихъ людяхъ онъ видѣлъ вырожденіе человѣка и человѣчества, и всѣ завоеванія культуры не могли закрыть отъ него главнаго и существеннаго—оскудѣнія твор-

чества, измельчанія характеровъ. Однородные умы, однообразныя стремленія, боязнь передъ всѣмъ выдающимся, всѣмъ выходящимъ изъ нормы—приводили въ отчаяніе. Конечно, онъ, совершенно не знавшій жизни (чего никогда не надо забывать, читая его книги), не видѣвшій даже ея, ошибался: успѣхъ его сочиненій, хотя бы и поздній, доказываетъ противное,—доказываетъ во всякомъ случаѣ, что *искра* теплится. Но то, что онъ говоритъ о золѣ—великолѣпно.

Съ невѣроятной силой выставилъ онъ далѣе разлагающее вліяніе на творчество мысли и на силу, *героизмъ* характера мѣщанскаго идеала, благополучія, съ одной стороны, идеала человѣческаго счастья вообще—съ другой. Онъ звалъ къ страданію, къ лишеніямъ, къ героическому подвижничеству, открывающимъ родникъ творчества, но его положительный идеалъ общественнаго устройства слишкомъ эстетиченъ, чтобы годиться для кого-нибудь, кромѣ эстетовъ. Кромѣ того, онъ даже не оригиналенъ и представляетъ простую копію идеала Платона. Не дойдя до переоцѣнки этой цѣнности, онъ тѣмъ самымъ оставилъ свою работу недоконченной; но и вообще надо замѣтить, что часто эстетическая точка зрѣнія для оцѣнки общественныхъ явленій не годится. Оттого-то изъ чувства омерзенія къ матеріальному благополучію, онъ не замѣтилъ, что оно во-истину отвратительно, когда оно является единственной и конечной цѣлью человѣческихъ стремленій и когда дальнѣйшее вырастаетъ не только изъ его

почвы, но и изъ духа. Но какъ первая ступень— оно необходимо и неизбѣжно. Во всякомъ случаѣ, критика Ницше тѣмъ хороша, что доказываетъ, что какъ бы это хорошо было для людей какъ-нибудь развязаться съ этимъ вопросомъ матеріальной стороны жизни. Есть въ немъ что-то унизительное, и глупо, что на него уходитъ девяносто девять процентовъ силъ девяноста девяти процентовъ всего человѣчества. Благодаря этому пошлый вопросъ обращается въ трагическій.

Его философія ясно носитъ на себѣ слѣды одиночества, отверженности, болѣзни, иногда безумія, но и самые крайніе, самые рѣзкіе ея выводы указываютъ лишь на то, какъ горячо и страстно, съ какой великой любовью искалъ Ницше истины. Не замѣтившій въ его книгахъ этой великой любви прошелъ значитъ „мимо“ Ницше, такъ же, какъ бѣдный азра проходитъ мимо пропилей...

Хотя Ницше почти не жилъ личной своей жизнью, онъ, однако, вплотную подошелъ къ основнымъ вопросамъ своего времени и къ главнѣйшему, гдѣ предѣлъ власти общества надъ личностью и есть ли предѣлъ свободѣ индивида? Для своего сверхчеловѣка онъ отрицаетъ всякую власть, всякій предѣлъ, и, хотя образъ сверхчеловѣка написанъ водою на небѣ, но въ теоретическихъ вопросахъ очень важно имѣть крайніе логическіе выводы основныхъ положеній.

Еще ближе къ жизни Ницше въ вопросѣ объ измельчаніи современныхъ людей. Все больше и

больше берется отъ нихъ Молохомъ мѣщанскаго, плоскаго и проникнутаго узкимъ матеріализмомъ и практической разсудочностью мѣщанскаго строя. Это-то и заставило меня назвать сочиненія Ницше великимъ предупрежденіемъ и предчувствіемъ. И никогда еще не являлся въ европейской литературѣ такой крикъ невыносимой боли при видѣ забвенія всего духовнаго, высшаго, что есть въ человѣкѣ, какъ у Ницше.

„Все это естественно перешло въ кровь и мозгъ потомства и сдѣлалось физіологическимъ признакомъ особаго вида людского, называемаго среднимъ состояніемъ“...

Мораль средняго состоянія—явленіе слишкомъ извѣстное, чтобы долго на ней останавливаться. Она, эта мораль, касается лишь отношеній человѣка къ извѣстному слою культурнаго общества, къ которому онъ принадлежитъ или хочетъ принадлежать. Во имя этой принадлежности она требуетъ извѣстныхъ поступковъ, обстановки, даже убѣжденій. Требовательная и настойчивая—она очень неглубока и сводится въ концѣ концовъ лишь къ соблюденію кодекса приличій, да и то такихъ, которыя не мѣшаютъ наживѣ. Тутъ все относительно: все имѣетъ въ виду раздѣленіе людей на два лагеря -богатыхъ и бѣдныхъ, хозяевъ и служащихъ.

Что проще, если Ницше, который смотрѣлъ на мораль безконечно глубже, который требовалъ отъ нея отвѣта на вопросъ: какъ долженъ вести себя человѣкъ не только въ отношеніи къ хозяе-

вамъ и служащимъ, но къ человѣчеству вообще, который хотѣлъ, чтобы правила морали установили его связь не только съ кругомъ культурныхъ лицъ, но всѣхъ людей и больше—всей вселенной, словомъ, который въ морали видѣлъ разрѣшеніе своихъ исканій смысла жизни, съ презрѣніемъ и ненавистью отшатнулся отъ мѣщанскаго кодекса и отпихнулъ отъ себя ногой заключавшіяся въ немъ понятія добра и зла. Не это добро, отворяющее двери въ приличныя гостиныя, и это зло, за которое казнятъ ближняго своего самодовольные люди, были нужны ему. Глубоко и настойчиво искалъ онъ тѣхъ правилъ, передъ которыми могъ бы преклониться каждый человѣкъ внѣ чина, званія и положенія, больной и здоровой, богатый и бѣдный, геній и обыкновенный смертный. Ему, медленно умиравшему отъ страшной болѣзни, надо было объяснить и смыслъ своей жизни, и смыслъ своего страданія, какъ одинаково надо было объяснить смыслъ жизни и страданія всѣхъ людей. Чѣмъ, какъ не негодующимъ смѣхомъ, могъ онъ отвѣтить на ежедневныя увѣренія, что нравственно—все полезное для насъ, лицъ извѣстнаго круга, класса и сословія, и безнравственно—все для насъ невыгодное. Для просвѣтлѣнія своего духа, для того, чтобы разрѣшить все возраставшія, дѣлавшіяся все болѣе мучительными недоумѣнія, онъ обратился къ нищему, къ человѣку, лишенному собственности, отрекшемуся отъ нея—къ Заратустрѣ, и отсюда, изъ этого противопоставленія „человѣка безо все-

го“ съ людьми культурными, мѣщанскими классами—его лучшая книга „Also schprach“...

„Ничего мѣщанскаго“—въ этомъ смыслъ и общественное значеніе его проповѣди.
